

== СЕРГЕЙ СОРОКИН ==

СТАЛИНГРАД
ИЮНЬ 1942

НЕ ОТСТУПАТЬ! НЕ СДАВАТЬСЯ!

Сергей Сорокин
Сталинград - Том 1.

«Автор»

2026

Сорокин С.

Сталинград - Том 1. / С. Сорокин — «Автор», 2026

Погиб в XXI веке и очнулся в 1942-м — младшим лейтенантом накануне самых страшных боёв за Сталинград. Сможет ли один человек изменить историю?

© Сорокин С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Две смерти капитана Дементьева	5
Глава 2. Контуженный	10
Глава 3. Взвод	16
Глава 4. По-своему	21
Глава 5. Особый отдел	26
Глава 6. Огневой мешок	32
Глава 7. Броня	37
Гл	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Сергей Сорокин

Сталинград - Том 1.

Глава 1. Две смерти капитана Дементьева

— Санитара! Санита-а-ар! Стёпа горит, вытаскивай его!

Крик разорвал наушник раньше, чем я успел доложить, что вижу вторую группу противника. Крик — это плохо. Крик в эфире означал, что у кого-то сдала выдержка, а она на войне обычно заканчивалась на пару секунд раньше, чем жизнь.

— Кремень — всем. Отход по двойкам к броне, я прикрываю. Работать!

Голос у меня казался спокойным, но не потому, что так себя ощущал, а потому, что командир не имеет права орать. Орущий командир — это уже не командир, а ещё один раненый, просто пока целый.

Школу мы держали шестые сутки. От неё, если честно, осталось одно название и лестничный пролёт с тремя стенами вокруг обвалившегося спортзала, да подвал, где лежали двое наших тяжёлых. Стёпа стал третьим. Теперь его тащили по коридору на плащ-палатке, и он горел. Термобарический подарок влетел в оконный проём аккуратно, как доставленный почтальоном.

Стёпе было двадцать шесть. Три недели назад он показывал мне в телефоне годовалую дочку в костюме зайца и спрашивал, положен ли ему отпуск к её дню рождения. Я сказал, что положен, даже рапорт подписал. Сейчас он лежал у меня в планшете, в кармане на груди, и кажется, горел вместе с планшетом, потому что мне тоже прилетело знатно, даже не понял чем, осколком или крошечком кирпича. Дышать я мог, а вот вдохнуть до конца уже нет.

Нас оставалось семеро ходячих. Приказ на отход пришёл ещё на рассвете, но утром по единственной дороге работал вражеский расчёт с сопки, и уходить в эту пору значило положить всех ребят на четырёхстах метрах пустыря. К полудню сопку накрыла наша арта, редкий случай, когда всё сработало, как в учебнике, и открылось узкое, минут на двадцать окно. В такое семеро здоровых прошмыгнут легко, а семеро здоровых с тремя тяжёлыми на руках только если кто-то останется держать дверь.

Я лёг за пулемёт у пролома и стал делать то, что умел лучше всего на свете. Не самое почётное умение для человека тридцати восьми лет от роду, зато востребованное.

Первую перебежку вражеской пехоты я срезал у бетонного забора, вторую заставил залечь у остова маршрутки. Пулемёт работал короткими очередями, по три-четыре выстрела за раз. Ствол уже плыл, и я думал о том, о чём всегда думается в бою, о времени. Группе потребуется четыре минуты, чтобы дотащить раненых до брони, а значит, мне придётся продать этому забору и этой маршрутке четыре минуты своей биографии. Если особо не жадничать, то это недорого, биография всё равно так себе: два развода с одной и той же женщиной, квартира в ипотеку, орден, о котором нельзя рассказывать, и отпуск, который я третий год собирался провести на море.

— Кремень, мы у брони! — захрипел эфир. — Стёпа живой! Уходи, командир!

— Понял, — сказал я. — Ухожу.

Но я знал, что уже не могу уйти. По мне уже пристрелялся миномёт, а между мной и бронёй лежали двести метров открытого асфальта, на котором меня разложили бы на запчастях секунде на десятой. Простая арифметика, я владел ею с двадцати лет. Уходить надо было раньше, но раньше не дотащили бы Стёпу.

— Командир?

— Работайте, — сказал я. — Всё нормально.

Смешно, последними словами в жизни у меня оказалось враньё. Ничего не нормально. По лестничному пролёту уже били с двух сторон, да и коптер висел где-то над головой, слышался его комариный зуд между разрывами. Я сменил позицию, потом ещё раз, и свалил кого-то шустрого в чёрной разгрузке, сунувшегося в спортзал, а потом зуд надо мной стих.

Когда коптер глохнет, это он устал, это он сбросил.

Я даже успел её увидеть. Небольшая, аккуратная, она падала сквозь дыру в перекрытии, чуть покачиваясь, как поплавков. И успел подумать три вещи: что группа дошла, что на море уже не съезжу, и что умирать, оказывается, совсем не страшно, а только очень обидно, как будто тебя исключили на середине фразы.

Всё стало белым.

А потом кто-то снова закричал, и по этому крику я понял, что фраза не кончилась.

— Санитара! Ой, мамочки! Санитара сюда-а!

Голос молодой, срывающийся, деревенский, и такого «окающего» акцента в нашей группе не было ни у кого, да и пахло не так. На моей войне пахло гарью, пылью и палёным пластиком, а здесь так густо несло углем, креозотом, горячим железом и степной полынью, будто меня ткнули мордой прямиком в эту полынь.

Я открыл глаза.

Белёсое от жары июльское небо, а по нему косым пунктиром медленно, лениво шли самолёты. Я ещё ничего не понимал, ни где нахожусь, ни кто кричит, но моё умное битое тело уже опознало звук раньше головы. Нарастающий, воющий, забирающийся всё выше визг пикировщика резал слух.

Тело перевернуло меня на живот и вжало в насыпь за секунду до того, как землю трянуло.

Взрыв, второй. Третий бахнул ближе, жарче, по спине хлестнуло песком и щепой. Я поднял голову и увидел эшелон.

Он стоял на путях у низенькой станции. Теплушки, платформы с чем-то укрытым брезентом и головные вагоны уже горели чадно, с треском, а из середины состава сыпались люди. Именно сыпались. Прыгали, падали, выдавливали друг друга из дверей, и вся эта масса в выгоревших гимнастёрках бежала вдоль состава. Вдоль! Толпой! По прямой, как цели в тире.

А сверху, развернувшись над водокачкой, на них заходила вторая волна, Ю-87, «Лаптёжники». Я узнал их мгновенно и без малейшего удивления по неубранным шасси в обтекателях, по изломанному крылу «чайкой», по вою включенных сирен, узнал так, как узнают что-то много раз виденное на экране и вдруг встреченное живьём. Мозг предъявил справку: «Юнкерс-87, пикирующий бомбардировщик, Германия», и завис, потому что справка не лезла ни в какие ворота.

Зато не завис я. Знал в себе такую особенность, за которую меня держали в профессии восемнадцать лет: когда мир переставал складываться, я не заморачивался и начинал работать с тем, что лежало на столе. А на нём лежали горящий состав, толпа людей на открытой насыпи и заходящие пикировщики. Всё остальное потом.

Я встал и заорал. Голос сорвался на первом же слове, чужой, слишком высокий, но я не успел этому удивиться.

— От эшелона! В степь, бего-о-ом! Врассыпную и лечь!

Ближние оглянулись. На меня смотрели совершенно белые лица, мальчишки, восемнадцати-двадцати лет, пилотки потеряны, глаза по пятаку. Толпа не разбирает слов, толпа слышит уверенность. Я схватил ближайшего за шиворот, развернул мордой в степь и толкнул.

— Туда! За тобой остальные! Бегом, я сказал!

Побежал один, побежат и десятеро. Стадо — страшная сила, если развернуть его в нужную сторону. Я же помчался вдоль состава против людского потока, хватал, разворачивал,

толкал, орал «в степь, врассыпную, ложись», и они слушались, потому что в аду слушаются любого, кто говорит командным голосом и не трясётся.

Слушались, впрочем, не все.

У третьей от хвоста теплушки распоряжался кто-то в фуражке, молоденький, с кубарями на петлицах, с наганом в поднятой руке. Он строил людей в колонну по четыре, и голос у него был отчаянный и звонкий.

— Не разбежаться! Стро-ойся! Под трибунал захотели?!

Колонна по четыре под пикировщиками — это братская могила, построенная по уставу.

Я добежал до него в четыре прыжка. Времени на субординацию не было, вой над головой уже перевалил за верхнюю ноту, первый «лаптёжник» лёг на крыло.

— Отставить колонну! — рявкнул ему в лицо. — Все в степь врассыпную, дистанция двадцать метров! Выполнять!

Он моргнул. Наверное, что-то такое прочитал у меня в лице, что спорить не стал, только пискнул «есть» и побежал разгонять свой строй. Я успел ещё увидеть, как рассыпается колонна, а потом небо упало.

Про бомбёжку рассказывать особо нечего, в ней нет сюжета, есть только грохот, земля на зубах и одна мысль, тупая, как молоток: «Следующая моя. Следующая моя. Следующая...»

Между второй и третьей упавшей бомбой я успел сделать единственное осмысленное дело: увидел в десяти шагах мальчишку, который не лёг, стоял столбом посреди этого светопреставления, прижав к груди вещмешок, как ребёнка, и сдёрнул его к себе в канаву. Он упал рядом, судорожно вцепился в мой рукав и так держался до конца налёта. Я чувствовал, как он дрожит всем телом, крупно, как загнанный заяц, и сделал то, что положено делать командиру, когда не остаётся больше ничего. Заговорил ровным голосом, в самое ухо плёл какую-то ерунду: «Нормально, боец. Это она мимо. Слышишь, мимо. Лежим, дышим, я рядом». Слова не имели значения, значение имел голос.

Не моя смерть. Самолёты отвыли, отбомбились, ушли за Дон, а я лежал в сухой канаве, обняв бойца, которого сам же туда и сдёрнул, и слушал, как звенит мир. Потом сел.

Хвост эшелона полыхал, порванные пути завернуло к небу ржавыми усами. По степи, сколько видно, поднимались из травы люди, вставали, ощупывали себя, искали пилотки. Кто-то визгливо истерически смеялся и никак не мог остановиться, кто-то звал Мишу, многие не вставали совсем.

А у горящей теплушки бился тот самый молодой крик, с которого всё началось.

— Санитара! Да где ж вы все, тут раненых полно!

Санитары не спешили, значит, найдём.

Следующий час остался в памяти кусками, как любая другая рутинная работа.

Первым делом я набрал себе людей. Просто шёл вдоль насыпи и выдёргивал среди оцепневших тех, у кого глаза уже начали приобретать осмысленное выражение.

— Ты, ты и ты за мной!

Человеку в ступоре нельзя говорить «помогите», ему надо дать задачу размером с один шаг, например, «возьми доску, подсунь под вагон, навались по счёту „три“. И он берёт, подсовывает, наваливается, и через минуту это снова человек, а не столб с глазами.

Помню, что вытаскивал из-под опрокинутой платформы мужика с раздавленной голенью и вязал ему жгут из брючного ремня. Рядом стояла девчонка в форме с санитарной сумкой, и я диктовал ей: «Время пиши. Прямо на лбу пиши чернильным карандашом четырнадцать десять». И она писала, не спрашивая, откуда я взял такое время. Я тогда и сам не знал, откуда его взял, часов-то у меня не было. Девчонка, к слову, оказалась толковее половины виденных мною санинструкторов: не ныла, не металась, только кусала белые губы, а на третьем раненом вдруг сказала: «А нас не учили записывать время наложения жгута». Причём не мне сказала, себе, и стала писать время всем подряд, уже не дожидаясь моей подсказки.

Помню теплушку, завалившуюся на бок, из которой глухо, как из-под воды, отчаянно стучали. Дверь заклинило юзом по земле, торец был проломлен и придавлен соседней платформой, внутри восемь человек и дым. Я рванул в сторону станции, добежал до инструменталки монтеров путей. Рядом стояли прислонённые к стене два чуть гнутых лома. Рабочих никого, но искать их — время терять, там люди задыхаются.

Схватив эту пару орудий путейцев, рванул обратно, видимо, адреналин придал сил, так как обратный путь, казалось, пролетел буквально за один миг.

Работа по разбору уже кипела. Бойцы разбирали торец кто чем мог, ломы дело заметно ускорили. Когда появилась щель, я заорал внутрь:

— Дышать в пол! В самый пол, там воздух!

Когда вытащили последнего, седого старшину с разбитой головой, он сел, посмотрел на горящий состав и сказал сиплю:

— Имущество же там... Второй роты имущество...

И заплакал. Не от потери имущества, конечно, просто мужским слезам требовался повод поприличнее страха.

Помню, что горящий вагон с ящиками, помеченными трафаретом «82-мм», я велел оттащить от состава вручную. Мы, всего двадцать человек, всё же оттащили его на слегах, и он рванул уже в отдалении, никого не зацепив.

Помню, как давешний лейтенант с наганом (фуражку он где-то потерял, на лбу вспухала лиловая шишка) подошёл ко мне и спросил тихо, почти шёпотом, чтобы не слышали бойцы:

— Товарищ командир, а откуда вы знали, что по составу второй заход будет? Вы ж крикнули «от эшелона» раньше, чем они развернулись.

Я ответил честно:

— Опыт.

Он кивнул с уважением.

А опыту было восемьдесят лет, если считать от этого лета вперёд.

Помню вкус чужой крови на своих руках, когда вытирал лицо, помню, как посреди этой работы впервые посмотрел на свои руки.

Руки оказались не мои.

У меня, у того меня, который час назад лежал за пулемётом в разбитой школе, руки были сорокалетние, тяжёлые, со сбитыми костяшками, а эти мальчишеские, узкие, обгоревшие на солнце, с цыпками и чернильным пятном на среднем пальце правой. Живые, послушные, чужие.

Я стоял и смотрел на них, наверное, секунд десять, целую вечность по меркам сегодняшнего дня.

— Товарищ младший лейтенант! Товарищ младший лейтенант Дементьев!

Я обернулся на свою фамилию раньше, чем сообразил, что оборачиваться не должен, сработала автоматика. За восемнадцать лет службы тысячу раз окликали именно так, Дементьев, только звание называли другое.

Ко мне бежал давешний крикун, тот самый, деревенский, лет восемнадцати, с ушибленной скулой, без пилотки, выгоревший чуб торчком. Подлетел, вытянулся, руки по швам, глаза восторженные и мокрые разом.

— Товарищ младший лейтенант, а мы думали, всё, накрыло вас! Вы ж у самой водокачки лежали, где первая-то легла! Я кричал, а вы не встаёте! — он шмыгнул носом и добавил совсем по-детски. — А вы вон чего... Вы ж пол-эшелона по степи разогнали. Кабы не вы...

Он говорил что-то ещё, но я уже не слушал. Медленно, очень медленно опустил руку в нагрудный карман гимнастёрки, чужой гимнастёрки, липнувшей к чужим лопаткам, и достал документы.

Серая книжечка. «Удостоверение личности начальствующего состава РККА». Внутри фотография худого большеглазого мальчишки с упрямым подбородком, печать, и каллиграфическим писарским почерком аккуратно выведено: «Дементьев Алексей Николаевич. Младший лейтенант».

Алексей Николаевич? Надо же, прямо как меня. Нет, точно как меня, до буквы.

Год рождения 1920-й.

Рядом с удостоверением лежали сложенная вчетверо справка из училища с отличными отметками по огневой и тактической, три рубля с мелочью, химический карандаш и фотокарточка. С фотокарточки смотрела женщина лет сорока пяти в тёмном платке с усталым худым лицом и моими... Вернее, его глазами. На обороте старательным почерком: «Лёшенька, береги себя. Мама».

Вот тут-то меня и повело. Не от бомбёжки, не от крови, не от чужих рук, от этого «Лёшенька».

Где-то жила женщина, которая родила это тело, вырастила, проводила на войну и молится за него, а в этом теле теперь я, сорокалетний чужой вояка, вселившийся в её сына, как кукушонок в гнездо. И сказать ей об этом нельзя ни в коем случае никогда. Никому нельзя сказать, вообще никому и никогда — вот что я понял раньше всех прочих истин этого дня. Первый же честный рассказ о том, кто я, закончится для младшего лейтенанта Дементьева либо палатой в психлечебнице, либо особым отделом, и ещё неизвестно, что хуже.

Я стоял посреди горелой степи в чужом теле с собственным именем в чужих документах, и разум мой, надо отдать ему должное, честно предложил мне два варианта. Либо я умер, и это такой персональный ад для кадрового офицера, либо жив, и это июль сорок второго года, станция в излучине Дона. Всё, что я знал про эту излучину, про это лето и город на реке в сотне километров восточнее, всё это ещё только должно случиться. И приказ, который прочтут перед строем в конце июля, и танковый клин, который в августе дойдёт до Волги за один день, и город, который запыляет так, что ночью можно будет читать газету за двадцать вёрст.

И я, единственный человек на планете, который всё это знает, стою тут в звании младшего лейтенанта, и вся моя власть над историей — один взвод, которого ещё даже не видел.

Выбирать из двух вариантов не пришлось, потому что на западе, за горящей водокачкой, низко над степью снова встал гул. Плотный, ровный, многомоторный, куда серьезнее первого.

Парнишка рядом задрал голову, лицо у него стало серым.

— Товарищ лейтенант, а это кто летит?

Я знал, кто, в том-то и дело, что знал.

— Это, брат, по нашу душу, — сказал чужим молодым голосом. Умереть сегодня мне, похоже, предстояло дважды.

Глава 2. Контуженный

— В воронку! За мной, в воронку! — я рванул парнишку за ремень так, что он клацнул зубами.

— Дык там же... Там воняет, товарищ лейтенант! — он упирался, дурак, тянул к вагонам. Ему казалось безопаснее за железом, под крышей.

— Снаряд в одну воронку дважды не падает! Прыгай, я сказал!

Мы кубарем свалились в свежую яму от полусотки, глубокую, ещё дымящуюся, с оплавленной землёй по краю за секунду до того, как над станцией легли первые бомбы новой волны. Теперь уже шли не пикировщики, а «Хейнкели». Они летели высоко, ровным строем, деловито и спокойно вываливая свой смертоносный груз по площади, и площадью этой была станция со всем, что на ней осталось живого.

Земля не тряслась, она ходила ходуном, как палуба. Меня подбрасывало и роняло, забивало рот горячим песком, в уши будто вбивали тупые гвозди. Парнишка вжался мне под бок, обхватил руками, и я его не отпихивал, так теплее держаться за землю вдвоём. Он что-то кричал, я не слышал, по губам разобрал одно: «Мамочки!»

— Дыши! — гаркнул я ему в самое ухо. — Ртом дыши, не то перепонки лопнут! Как я, смотри!

Он повернул чумазое лицо, я разинул рот, как рыба, выброшенная на сушу. Так мы и лежали, два дурака с разинутыми ртами, посреди конца света.

Заончилось всё также вдруг, как началось. «Хейнкели» честно отработали и неторопливо уплыли на запад, скрывшись в облаках, наступила тишина, но не настоящая, а та ватная, звенящая, когда мир оглох. Я поднял голову над краем воронки.

Станция исчезла.

То есть здание вокзала ещё стояло, правда без крыши, с выбитыми окнами, но от путей, эшелона и водокачки не осталось и следа, на том месте дымилась перепаханная полоса земли, по которой ветер тащил клочья горящего тряпья. Где-то далеко, надрываясь, ржала лошадь.

— Живой? — спросил я парнишку.

Он ощупал себя обстоятельно, сверху донизу, будто проверял, всё ли на месте после драки.

— Живой, — сообщил он с искренним удивлением. — Товарищ лейтенант, а я живой!

— Поздравляю. Звать как?

— Селезнёв Иван. Ванька то есть, — он вдруг спохватился, вытянулся прямо в воронке, отчего чуть не сел обратно. — Рядовой Селезнёв, товарищ младший лейтенант! Второй взвод, третья рота!

Второй взвод, третья рота. Мой взвод. Значит, вот оно как? Эшелон вёз мою же часть, и этого конопатого я, выходит, гонял по плацу всего пару недель тому назад. Только я его не помнил, вообще тут никого не помнил, а это надо как-то расхлёбывать и побыстрее.

— Ну, Ванька, вылезай. Раз живой, работаем.

Мы выбрались наверх, и вот тут началось самое тяжёлое: разгребание последствий бомбёжки.

По изрытому полю потерянно бродили чёрные от копоти оглушённые люди. Кто не мог встать и полз, подвывая, кто звал своих. Никто не отзывался. В хвосте уцелело вагона четыре, оттуда таскали раненых, клали рядом на шинели. Тяжёлые лежали тихо, смотрели в небо.

Я пошёл туда, там ждала работа, которую я умел. И тут меня окликнули не восторженно, как Ванька, тяжело:

— Товарищ лейтенант! Живой? Ну слава те...

Ко мне шёл немолодой мужчина лет сорока пяти, кряжистый, с седой щетиной на лице, в перепачканной гимнастёрке со старшинскими треугольниками. Шёл вразвалку, не спеша, будто с покоса, и покуривал. Лицо спокойное, с хитринкой, а глаза щупали меня цепко, снизу вверх и обратно.

— Товарищ младший лейтенант, — сказал он, останавливаясь в двух шагах и козырнув без особого усердия. — Дорохов, старшина роты. Вы меня, часом, не забыли?

Забыл. Начисто. Но вопрос был задан так, что я понял, тут кроется подвох. Проверяет.

— Дорохов, — повторил я ровно, глядя ему в глаза. — Тебя, старшина, забудешь, как же. Что-то в его лице дрогнуло, не то чтобы улыбка, так, тень.

— Вон оно как, — сказал он. — А то я гляжу, командир наш из-под водокачки полстанции по степи разогнал, врассыпную положил, вагон с минами оттащить велел. Грамотно! А ротного нашего третий день бьёт лихорадка, лежит пластом, и командовать, стало быть, некому. Одни вы, товарищ лейтенант, на ногах из начальства, — он помолчал. — Только вот какая штука. Вы у нас две недели как из училища. взводом покамест толком не покомандовали, а тут будто всю жизнь воюете. С чего бы?

Вопрос повис в дымном воздухе.

Стукачества я в нём не подозревал, а вот старую солдатскую чуйку на брехню очень даже. Совру гладко — будет коситься всю дорогу, значит, предъявим полуправду.

— Контузило меня, старшина, — сказал я. — Крепко. У самой водокачки первая легла. Очнулся — половину не помню, ни лиц, ни имён.

— Совсем, что ли, ничего? — прищурился Дорохов.

— Училище помню смутно, а как вчера кашу ел, хоть убей, не скажу, — я криво усмехнулся. — Зато руки, вишь, помнят больше головы, тело само делает, а я поспеваю. Бывает после контузии. Пройдёт ли, нет ли, кто ж знает?

Я выложил почти правду.

Дорохов смотрел на меня долгую секунду, потом кивнул. Не то чтобы поверил, а решил, что ладно, сойдёт.

— Контузия, — сказал он раздумчиво. — Это бывает. У нас на финской комбата так тряхнуло, он опосля неделю жену родную по фамилии звал, — и без всякого перехода деловито доложил. — Значит, так, товарищ командир. Раненых семнадцать, из них шесть тяжёлых, убитых покамест не считал. Ротный лежит в третьем вагоне. Санинструктор один, девка, зашивается. Жратвы нет, воды фляга на троих, до полка вёрст сорок пёхом и связи никакой. Приказывайте.

— Первым делом вода, — сказал я. — Ванька!

— Я! — подлетел Селезнёв.

— Водокачку разбило, но труба где-то в земле осталась. Бери двоих покрепче, ищите, где течёт или сыро. Найдёте воду, не пить сразу, звать меня. И котелки собирайте все, что целые.

— Есть! — Ванька умчался, счастливый оттого, что дали дело.

— Толковый мальчонка, — заметил Дорохов. — Только пуганный шибко. Из-под Харькова его к нам прибило, там всю роту положили, а он выбрался. Молчит про это.

— Отойдёт, — сказал я. — Первый бой пережил, второй легче. Старшина, а этот... с наганом который, лейтенантик молодой, что колонну строил, он чей?

— А это Прохоров из первой роты. Тоже, вишь, командовать кинулся, — Дорохов хмыкнул. — По уставу всё делал. По уставу-то оно вроде и верно, только устав тот в Москве писали, а бомбы вот они, тут. Хорошо, что вы его окоротили.

Мы дошли до раненых. Над ними, стоя на коленях в грязи, работала девчонка в гимнастёрке, та самая, что отмечала время на лбах. Худенькая, с тёмной косой под пилоткой, рукава закатаны по локоть, руки в крови. Она перетягивала кому-то ногу и одновременно, не поднимая головы, распекала здорового бойца, топтавшегося рядом:

— Да не стой ты столбом! Держи ему плечи, кому говорю! Прижимай! Ой, мужики, ну что вы как неродные!

— Санинструктор наша, — буркнул Дорохов. — Зорина Катька, месяц как из медицинского. Недоучка, а бойкая, вона как распоряжается.

Я хотел пройти мимо, не до знакомств сейчас, но она подняла голову. Глаза серые, злые от усталости, под ними чернота. Узнала меня.

— О, командир! — сказала она без всякого почтения, зато с надеждой. — Товарищ лейтенант, у меня бинтов на две перевязки, а раненых семнадцать. И морфий кончился на третьем. Что делать прикажете?

— Рвать на бинты всё, что есть чистого, — сказал я. — Нательные рубахи, простыни, портянки свежие. Кипятить нечем, значит, ищите что почище. Жгуты у тебя со временем?

— Со временем, — она моргнула. — Вы ж сами велели.

— Молодец. Тяжёлых в тень, под вагон, головой ниже ног у кого кровопотеря. Кто может пить, поить понемногу, как воду найдём. А этих, — я кивнул на топчущихся вокруг бойцов, — в дело. Пусть носилки вяжут из шинелей и жердей. Раз стоят, значит, работать могут.

Она коротко глянула на меня снизу вверх и вернулась к бинтам, но плечи у всё же неё чуть отпустило, будто одной заботой стало меньше.

— Есть, — сказала она тихо и вдруг безо всякой уставщины, по-бабьи спросила. — Вас правда контузило? А то говорят...

— Правда, — сказал я. — Работай, Катерина, некогда.

У ближнего раненого, чернявого рядового с золотой фиксой, дёрнулась нога, пробитая осколком, и он застонал сквозь зубы.

— Тихо, тихо, — Катя перехватила ему ногу. — Гуськов, не дёргайся, кость не на месте, хуже сделаешь.

— Катерина Пална, — просипел раненый, скалясь фиксой, — а вы мне ногу-то не оттяпаете? Мне без ноги никак, я плясать люблю.

— Оттяпаю, если будешь дёргаться, тупым ножом и без наркозу. Лежи.

— Строгая! — Гуськов подмигнул мне, хотя лоб у него блестел от пота. — Товарищ лейтенант, вы гляньте, какая. Я к ней месяц подъезжаю, а она мне «тупым ножом». Это ж любовь, а?

— Это гангрена будет, а не любовь, ежели не помолчишь, — сказал я, придерживая ему плечи. — Ты пулемётчик?

— Первый номер! — сказал гордо сквозь стиснутые от боли зубы. — «Максим» мой у насыпи остался. Не бросьте, товарищ лейтенант, а? Пристрелянный, зараза, как влитой бьёт.

— Не бросим, — сказал я. — Катя, шину. Есть из чего?

— Дощечки от ящика да бинт, — она уже прикладывала к голени деревяшки. — Держите ногу прямо, Гуськов, сейчас будет больно.

— Мне при вас, Катерина Пална, вообще не больно, — соврал пулемётчик белыми губами и тут же взвыл так, что стало ясно, хорохорится.

Катя затащила шину, выпрямилась, вытерла потный лоб запястьем, оставив на нём красную полосу.

— «Максим» его правда заберём? — тихо спросила она, не мне даже, а куда-то в сторону. — Он же по нему так убивается.

— Заберём, самим нужен позарез.

Она кивнула, и снова у неё что-то в лице отпустило.

Следующий час прошёл на ногах. Ванька нашёл, где взрывом порвало трубу. Вода сочилась в яме, мутная, ржавая, но все же лучше, чем ничего. Дорохов занимался носилками. Зорина шила раненых суровой ниткой, закусив губу, и я, встав рядом, показал ей пару приёмов как затянуть шов, чтоб не разошёлся, как заложить тампон в рану на животе. Она смотрела

на мои руки и повторяла, не спрашивая, откуда пехотный лейтенант знает то, чего не умеет медичка. Некогда было спрашивать.

Где-то за перепаханным полем всё ржала лошадь, та самая, что я слышал сразу после бомбёжки. Ржала надрывно, с перерывами, и на этот звук у меня в голове сложилась мысль.

— Старшина, слышишь коня?

— Слышу, раненый, видать. Этого добить бы, чтоб не мучился, на нём не поедешь.

— Этого добьём. А вот раненых семнадцать, на себе мы их сорок вёрст не утащим и до утра. Нужна целая подвода, с целой лошадыю. Тут обоз стоял, где-то да уцелело. Пошли кого глянуть.

Дорохов посмотрел на меня с новым каким-то выражением, будто мысленно поставил себе галочку.

— Дельно, — сказал он и, обернувшись, гаркнул через плечо так, что заложило уши. — Беле-е-нький! Живой, чёрт одесский?! А ну, сюда!

Из-за опрокинутого вагона вынырнул боец, невысокий, вертлявый, нос уточкой, глаза быстрые. Даже сейчас, в этом аду, морда у него была такая, будто он уже что-то прикинул и на чём-то наварил. За плечом не форменный сидор, а добротный кожаный ранец, явно чужой.

— Тут я, товарищ старшина! — отозвался он с таким одесским распеваем, что стало ясно, этого из принципа не убьёт даже прямое попадание. — Живой и даже красивый. Чего изволите?

— Изволю целую подводу. Обоз тут стоял, глянь, не уцелела ли лошадь с бричкой. Найдешь, гони сюда, раненых возить будем. Одна нога здесь...

— А чего её искать, товарищ старшина, — Беленький сверкнул глазами. — Я ту лошадку ещё до налёту приметил у обозных. Гнедая, справная, и бричка при ней. Обозного, правда, того... накрыло, так что лошадка теперь, выходит, ничья. А ничья лошадка — она чья? — он выдержал артистическую паузу. — Она нашей третьей роты, вот чья!

— Тыфу на тебя! — беззлобно сказал Дорохов. — Ты и на том свете сообразишь, где что плохо лежит. Веди.

— Боец, — окликнул я его. — Как звать?

— Рядовой Беленький, товарищ младший лейтенант. Аркадий, — он вдруг стрельнул в меня хитрым взглядом. — А это правда, что вы под водокачкой лежали убитый, а потом встали и командовать? Народ гутарит...

— Правда, — оборвал словоохотливого паренька я. — Не понравилось мне там, скучно. Наглая морда Беленького расплылась в улыбке.

— От командир! — сказал он с искренним восхищением. — Убитый встал, потому что скучно. Это ж не командир, это ж песня! Товарищ лейтенант, а можно я при вас буду? Я везучий, меня тут третьи сутки убить пытаются и всё мимо. Вон ранцем офицерским разжился, часами швейцарскими, — он похлопал по трофею, — а сегодня и вовсе конём. При таком, как я, и вам целее будет.

— При тебе, Беленький, скорее без штанов останешься, чем чего-то приобретёшь, — проворчал Дорохов.

— Так голова же дороже, товарищ старшина! — не смутился одессит. — Штаны — дело наживное. Так мне вести, говорите? Веду.

Беленький коротко хохотнул и растворился в дыму искать свою «ничью» гнедую. Дорохов покачал головой ему вслед.

— Жулик, каких свет не видывал, — сказал он почти нежно. — Но в разведку с им пойду. Он в любой дыре и пожрать сыщёт, и патроны, а надо, так и немца за язык приведёт, ещё и обчистит по дороге. Такому цены нет, товарищ командир. Ежели прибрать к рукам, золото, а не боец.

— Учту, — сказал я. И правда учёл.

Ротного я нашёл в хвостовом вагоне. Старший лейтенант Ребров лежал на шинели, жёлтый, с потрескавшимися губами, весь в поту. Малярия, будь она неладна. Он был в сознании, но плавал.

— Дементьев? — прохрипел он, разлепив глаза. — Ты живой? Слушай сюда. Не могу я... трясёт, ничего не соображаю. Принимай роту. Временно. Веди к полку. Приказ был к полку, в район Чира. Понял?

— Понял, товарищ старший лейтенант.

— Документы ротные в планшете под головой. Ведомости, список личного состава. Береги, — он говорил рвано, между ознобом. — Людей у нас на две трети штата, пополнение сырое, весеннее, из-под Харькова. Пороху не нюхали почти, если немец навалится раньше, чем дойдём...

— Дойдём, — сказал я. — Ты об этом не думай, тебе лежать.

— Лежать, — Ребров криво усмехнулся, губы у него потрескались до крови. — Ротный лежит, а младшей роту ведёт. Хорош я командир, — он поймал меня за рукав горячей рукой. — Ты вот что. Дорохова слушай, тот дурного не посоветует. Он на финской ещё воевал, когда ты пешком под стол... — Ребров закашлялся и уплыл обратно в свою лихорадку, бормоча уже неразборчиво.

Я вышел из вагона на свет. Дорохов ждал у подножки, курил самокрутку, шурился на багровый, в дыму закат.

— Ну что, командир, — сказал он, не оборачиваясь. — Принял хозяйство?

— Принял.

— Сорок вёрст. Раненые. Ночь скоро, — он затаился. — Пойдём ночью или до утра обождём?

Я посмотрел на запад. Там, за холмами, откуда пришли самолёты, небо было красным не только от заката, там стояло ровное зарево, и оно двигалось. Медленно, но двигалось.

— А ночью, старшина, у нас гостей не предвидится? — спросил я, кивая на зарево.

Дорохов проследил мой взгляд, затаился ещё раз и сказал спокойно, будто о погоде.

— Будут. Это, товарищ лейтенант, немец идёт, и до нас ему, по всему выходит... — он прикинул, шевельнув губами, — часа четыре, от силы пять.

— Танки?

— А кто ж его знает. Может, танки, может, мотоциклисты передовые. Но раз зарево ровное да ползёт, значит, село за селом жгут, по дороге идут. По нашей дороге, товарищ лейтенант, по той самой, по которой нам к полку.

Я молчал, глядя на зарево. Сорок вёрст ночью с ранеными по единственной дороге, и по этой дороге впереди и позади немец. Разминуться негде, степь, балки, одна колея.

— Кузьмич, раненых, кто совсем плох, на бричку и вперёд налегке, сколько гнедая утянет. Остальные своим ходом и не растягиваться. Пойдём не по дороге, а обочиной, балками. Дольше, зато не на виду.

Дорохов покосился на меня из-под седых бровей оценивающе.

— По балкам ночью роту вести — это уметь надо, товарищ командир. Заблудим, рассыплемся, к утру людей не соберём.

— Проведу, — сказал я. — Разведку впереди пушу, а ты замыкающим, чтоб никто не отстал и не лёг.

Старшина ещё раз затаился, бросил окурок, придавил каблуком и вдруг усмехнулся в усы впервые за весь этот день.

— А ты, гляжу, и правда контуженый, — сказал он. — Нормальный-то командир сейчас бы по дороге пошёл напрямик на немца с криком «за Родину», а ты «балками». Может, оно и к лучшему, что тебя потрянуло.

Четыре часа, сорок вёрст, семнадцать раненых и немец, прущий нам навстречу по единственной дороге.

Да-а-а, ситуация.

Глава 3. Взвод

Небо над колонной вдруг вспыхнуло мертвенно-белым режущим светом, будто кто-то включил над степью тысячу прожекторов разом.

— Ложись! Все вниз, не двигаться!

Немец повесил «люстры», осветительные бомбы на парашютах. Они висели высоко, покачиваясь, заливая степь ровным синеватым светом, от которого каждый куст отбрасывал резкую тень, а колонна из ста с лишним человек на голой дороге становилась видна, как на ладони.

Люди залегли. Не все сразу, кто-то замешкался, кто-то наоборот дёрнулся бежать, но Дорохов рывкнул с хвоста колонны, я рывкнул с головы, и через пару секунд дорога опустела, все вжались в землю, замерли. Я лежал в пыльной колее, задрал голову, и слушал небо.

Гула не было, значит, не бомбардировщик, «рама» или одиночный разведчик сбросил осветительные и ушёл. Плохо, куда хуже, чем бомбёжка. Бомбёжка что? Самолёты отбомбились и всё, а вот это значило, что нас засекли и где-то там уже пишут в планшет, что колонна в столько-то человек движется на восток. Утром жди гостей.

— Не шевелиться, — сказал я негромко, и по цепи продублировали приказ. — Пока горит, лежим, лишнюю тень не бросаем.

Кто-то не выдержал.

В хвосте колонны, хоть всё ещё горели «люстры», вскочил молодой боец, лица я не разглядел, только тёмный силуэт метнулся с дороги в степь, прочь от света, спотыкаясь и мыча от ужаса. Побежал, идиот, а за бегущим в панике всегда тянутся глаза, и я почувствовал, как по колонне прошла дрожь. Ещё двое приподнялись на локтях, готовые сорваться следом.

— Лежать! — вбил это в темноту вполголоса, но так, что те сразу легли. — Всем лежать, не смотреть на него!

— Дорохов, — шепнул я. — Верни дурака, пока всех не поднял.

Но старшина уже полз наперерез тихо, по-пластунски. Я понял, что он настиг беглеца в бурьяне по короткой возне, сдавленном вскрике и шлепке. Через минуту Дорохов приволок его назад за шиворот и уложил рядом со мной. Мальчишка трясся, зубы у него стучали, как ложки.

— Ты куда собрался, милый? — прошипел Дорохов ему в ухо, беззлобно, но железно. — В степь? Один? Там до немца ближе, чем до мамки. Лежи и дыши.

— Я... я не могу, — всхлипнул тот. — Товарищ старшина, мочи нет, светло же, видно нас всех. Сейчас как жажнет...

— Звать как? — тихо спросил я.

— Кор-корнеев Петька.

— Слушай сюда, Петька, — сказал я ровно, глядя не на него, а вверх, на догорающую «люстру». — Пока она висит, тебя из самолёта не различишь, ты в траве серый, как земля. А вот когда ты бежишь, тебя видно за версту, ты один со своей тенью шевелишься на всё поле. Понял разницу? Бегущий — мишень, лежащий — кочка. Хочешь жить, притворись кочкой. Дойдём до балки, реви сколько влезет, разрешаю, а сейчас лежи.

Петька шмыгнул носом, кивнул. Дрожать он не перестал, но за землю держался.

«Люстры» догорели и погасли одна за другой, и темнота после них навалилась такая, что я минуту ничего не видел, только зелёные пятна плавали в глазах. Колонна ожила, зашевелилась, поднялась.

— Товарищ лейтенант, — придвинулся из темноты Дорохов. — Засекли нас, и Корнеев вон чуть роту не сорвал. Молодой, из весенних, оробел.

— Не ругай его, — сказал я. — Он не трус, просто необстрелянный, отойдёт. Определи его завтра к кому-нибудь из стариков, пусть за ним присматривает, уму-разуму учит.

— Дело, — согласился Дорохов. — К Пантелееву направлю, крепкий мужик, основательный, ещё в финскую воевал.

— Добро. Но что засекли — это точно, — согласился я. — Значит, до рассвета надо дойти. Балками с ранеными ночью не протащишься, вот и жмёмся к дороге, где ровно. Но как посветлеет, с колеи уходим в балки: на свету тут раздолбают. Сколько ещё?

— Вёрст пятнадцать. Успеем, ежели не расслаживаться.

— Тогда вперёд.

Мы шли уже третий час. Гнедая Беленького тащила бричку с шестью тяжёлыми, остальных раненых, кто мог, вели под руки или несли на сцепленных винтовках. Люди устали, стёрли ноги, хотели пить и спать, держались на одном: за спиной ползло зарево, и туда, назад, не хотел никто.

Я мотался вдоль колонны и приглядывался к своей роте. Смешно сказать, но я её утром увидел впервые в жизни, а потому старался запоминать по мелочи: кто как винтовку тащит, кто поет, кто молчит, кто соседу плечо подставил, а кто сам себя еле волочёт. Завтра в бой, а я их совсем не знал. Непорядок.

— Кузьмич, — я нагнал Дорохова. — Расскажи про роту, кто чего стоит, я ж половину не помню, а завтра, глядишь, в дело.

Дорохов побряхтел, но рассказал обстоятельно, всё равно что зачитал опись имущества.

— Первым взводом Копылов командует, сержант, человек крепкий, из шахтёров, но упрямый как бык. Что вобьёт в голову, колом не вышибешь. Второй взвод ваш, товарищ лейтенант, тут покамест я главный. Третьим заведует Мыколаенко, хохол, хозяйственный, но робкий, за чужие спины любит прятаться. Пулемётчиков двое осталось, «максим» один, с погнутым щитом. Народ разный. Кто с финской, как я да ещё пяток стариков, а больше молодняк из-под Харькова да пополнение весеннее. Пороху нюхнули не все.

— А снайперы, охотники есть? — спросил я. — Кто с малолетства с ружьём?

— Есть один, — Дорохов кивнул в темноту в голову колонны. — Черных, Игнат, сибиряк, с Ангары, промысловик, соболя бил. Молчун, за неделю двух слов не скажет, но глаз... — старшина уважительно причмокнул. — Глаз у него звериный, как и слух. В охране спит, а всё чует. Я его вперёд дозором пустил.

Меня будто толкнуло. Настоящий охотник с рождения, а не выученный на курсах за две недели. Такой один стоит взвода, если его не угробить сдуру в первой же атаке, сунув в общую цепь как всех. А и угробят, тут снайперов беречь ещё не научились, свои же и растратят по глупости, но вот этого не дам.

— Веди к нему, — сказал я.

Черных обнаружился в полусотне шагов впереди колонны, я бы его и не заметил, если б Дорохов не показал. Он не шёл по дороге, как все, двигался обочиной, по траве, чуть пригнувшись, и не топал, а будто перетекал из тени в тень. Винтовку нёс не на ремне, а в руках, стволом чуть вниз, готовую. Когда я подошёл, он услышал шага за три, обернулся плавно, без рывка. Лицо в темноте не разобрать, только глаза блеснули.

— Черных?

— Он самый, — сказал тихо низким спокойным голосом.

— Что впереди?

— Тихо впереди, — он помолчал, будто прислушиваясь к чему-то, чего я не слышал. — Балка через версту слева, там люди. Дымом тянет, махоркой, наши, должно, немец махру не курит.

Я не чуял никакого дыма. Ветер дул нам в спину, а он против всякой логики почувствовал махорку за версту, видно, словил не запах даже, а что-то ещё, что городскому человеку давно недоступно.

— Откуда знаешь, что балка?

— Так вижу, — сказал Черных, будто удивился вопросу. — Звезда вон над ней стоит ниже, земля дышит по-другому. Балка и есть.

Я усмехнулся в темноте. Читал он ночь лучше, чем я карту.

— А немца, значит, по запаху чуешь. А по чему ещё?

— По всему, — он пожал плечами, я это скорее угадал, чем увидел. — Курит сладкое, мажется чем-то сам, а сапоги ваксой, прёт за версту. Немец громкий. Когда идёт, веткой не шаркнет, а слышать на всю округу. Наш мужик тихий, он землёй пахнет, а немец... — Черных подумал, подбирая слово. — Немец пахнет заводом, железом да маслом. Я в тайге соболя по духу брал, а немца-то и подавно возьму.

— Соболя, — хмыкнул я. — А человека тебе стрелять доводилось?

Он помолчал дольше, чем раньше.

— Нет ишо, — сказал он ровно. — Но зверь и человек — оба живые, командир. Дыхание держат, шаг ставят, воду пьют. Кого стрелять велишь, того стрелять и буду. Наши-то вон они, в балке. В хуторе спят немцы, а мы к своим крадёмся, непорядок это, — он повернул ко мне лицо. — Разреши я к тому хутору схожу, гляну, много ли их. Тихо схожу, никто не хватится.

— Не сейчас, — сказал я, а сам отметил, не помешало бы. И сходит ещё если не завтра, так послезавтра. — Сейчас ты мне живой нужен и при роте. Держись при мне, Черных, с завтрашнего дня в цепь не пойдёшь, держись отдельно. Понял?

Он поглядел на меня, и я скорее почувствовал этот взгляд, чем увидел. Долгий, оценивающий, звериный.

— Понял, — сказал он. И, помолчав, добавил то, чего от молчуна не ждёшь: — Ты, командир, не такой, как утром был.

— Контузило, — сказал я привычно.

— Угу, — сказал Черных, отвернулся к своей темноте и больше за всю ночь не сказал ни слова. Но что-то в этом «угу» прозвучало такое, отчего мне стало не по себе. Дорохов принял мою версию, потому что удобно, Беленький принял, потому что смешно, а этот, кажется, вообще не принял, просто отметил, как отмечают след незнакомого зверя, и запомнил.

Перед балкой я дал добро на короткий привал в десять минут, не больше. Рота осела на обочину, кто где стоял. Задымили самокрутки, забулькали фляги. Я прошёлся вдоль, послушал, о чём говорит народ, командиру это полезно.

У обочины сидел Ванька Селезнёв, стягивал сапог, морщился. Рядом развалился Беленький, жевал сухарь с таким видом, будто это ресторанный бифштекс.

— Ты, Ванька, портянку не так мотаешь, — лениво поучал одессит. — Ты её пяткой, пяткой заворачивай, а то к утру не ноги будут, а котлеты. Что ж тебя в деревне мотать не научили?

— У нас лапти носили, — огрызнулся Ванька. — В лаптях оно проще.

— В лаптях! — Беленький воздел глаза к небу. — Нет, вы слышали? Он воевать в лаптях собрался! Товарищ лейтенант, скажите ему, что в лаптях немца не победишь, немец культурный, он лаптей боится, но не уважает.

— Портянку и правда перемотай, — сказал я, присаживаясь на корточки рядом. — Дай покажу. Вот так, гладко, без складок, край под пятку. Складка натрёт, сядешь, а рота дальше пойдёт. Отстанешь один в степи, знаешь, что будет?

— Что? — Ванька поднял на меня глаза.

— Ничего хорошего, поэтому ноги береги, как оружие. Пехота воюет ногами, а стреляет уже потом.

Ванька старательно перемотал портянку под оценивающим взглядом Беленького.

— А вы, товарищ лейтенант, где так наострились? — спросил одессит с уважением. — Прямо как старый фельдфебель. Я одного знал в Одессе, в порту грузчиком работал, из старой армии, так тот тоже всё «ноги береги, ноги береги»...

— В училище, Аркадий, — сказал я. — Хорошее было училище.

— Оно и видно, — сказал Бельский, и глаза у него блеснули хитро.

Смышлёный, зараза! С такими держи ухо востро, этот в бумажку не поверит, верит только глазам. Каждую мою оговорку он в уме уже пометил, по лицу видел.

Тут же, у обочины, сидел один из стариков-финников, о которых говорил Дорохов, жилистый дядька с прокуренными усами по фамилии Пантелеев. Он молча слушал нашу возню, потом сказал в пространство, ни к кому на обращаясь.

— Командир дело говорит. У нас на финской взводный был, франт, из городских, всё ножками брезговал. Первый и слёг. А кто ноги берёт да голову, те до дому дошли, — он посмотрел на меня из-под нависших бровей. — Ты, лейтенант, гляди, не растеряй это, а то нынче командиры пошли все храбрые, да бестолковые. Храбрость дёшево стоит, ежели без головы.

— Не растеряю, отец, — сказал я.

Больше Пантелеев ничего не сказал, отвернулся к своей самокрутке, но я понял, что ещё один старик записал меня себе в голову как «этот, кажись, не дурак». С таких стариков рота и начинала верить командиру. А ещё с портянки, с вовремя объявленного привала, с того, что я сам знал, как жгут вязать. Мелочь, а из мелочей всё и складывается.

Десять минут кончились.

— Рота, подъём. Пошли, — сказал я негромко.

Рота, крихтя, поднялась, но не по свистку, а просто потому, что встал я. И это дорогого стоило.

Балка и правда оказалась там, где сказал Черных. В ней у прикрытого костерка сидели человек двадцать, сборная солянка из разбитых частей: артиллеристы без пушек, связисты без катушек, пехота без командиров. Старший, усталый капитан с рукой на грязной перевязи, поднялся навстречу и обрадовался нам, как родным.

— Пехота? Слава богу, хоть кто-то целый, а то бредём кто в лес, кто по дрова. Стеценко, — представился он, протягивая левую, здоровую. — Капитан, артиллерист... был, пока при пушках. Ты, лейтенант, за старшего?

— За старшего. Дементьев.

— Молодой ты для роты.

— Какой есть, — я пожал ему руку. — А где пушки-то, товарищ капитан?

— Пушки? — Стеценко криво усмехнулся. — Пушки под Морозовской остались. Три выстрела на ствол и всё, снаряды кончились. Расстреляли, что осталось, а потом замки в колодец да ноги в руки, — он сплюнул. — Знаешь, каково это своё оружие в колодце топить? Я его два года холил.

— Знаю, — сказал я. И правда знал, только про другое железо. — Товарищ капитан, вы к Дону? Пойдём вместе. Вместе мы сила, а поодиночке немец нас переловит, как курей.

— А сила ли? — Стеценко оглядел мою колонну, раненых, бричку, усталых бойцов. — У тебя половина ходячих раненых да салаги, у меня пушкари без пушек да связисты без проводу. Два войска, а на одну хорошую роту не наберём.

— Наберём, — сказал я. — У тебя пушкари? Значит, глазастые, стреляют не в белый свет. У меня охотник есть, ночь видит. Твои связисты? В боку у немца пригодятся. Раскидай людей правильно, и уже не сброд, а отряд. Главное — идти кучей и с головой.

Стеценко посмотрел на меня, на молоденького младлея, который говорил не по чину уверенно, но спорить не стал. В его положении спорить глупо, а глупым он ни разу не был.

— Ишь ты! — сказал он только. — Ну пойдём, командир.

И, понизив голос, чтоб не слышали его пушкари, зашептал:

— Ты вот что, своим не говори, что тебе скажу. Я третий день как из-под Морозовской, и там нет фронта, лейтенант, совсем нет. Немец прёт клиньями, где хочет, наши держат кусками,

а между кусками дыры в десятки вёрст, и в те дыры танки тянутся к Дону, к переправам. Так что мы с тобой, может, уже и не к своим топаем, а в мешок.

Про мешок я знал лучше него, знал даже, чем всё кончится через месяц, через полгода. Но одно дело помнить, а другое — стоять в тёмной балке и слушать правду от живого капитана с простреленной рукой.

— Дойдём, — бодрясь, сказал я. — Не в такие мешки попадали, товарищ капитан. Главное — не бежать. Кто бежит, того и ловят, а кто идёт с головой, проходит.

Мы двинулись перед рассветом уже объединённой колонной человек в полтора. Небо на востоке начало сереть, надо было спешить, чтобы укрыться в балках до света. Я шёл в голове, рядом молча тёл Черных, сзади поскрипывала бричка.

Беленький, пристроившись к пушкарям Стеценко, радуясь новым ушам и свежей публике, вполголоса заливал:

— И вот приезжает, значит, этот фраер из Ростова и спрашивает, мол, где тут у вас Дюк? А я ему: «Какой такой Дюк, гражданин?» «Дюк», — отвечает, — «памятник, Ришелье». А я ему честно, глаза в глаза: «Дюка, гражданин, вчера на металлолом сдали, война же, всё для фронта, но если желаете, могу устроить постаментик. Недорого».

— Врёшь! — сказал кто-то из пушкарей, уже давясь смехом.

— Аркадий Семёнович Беленький сроду не врал, — оскорбился одессит. — Аркадий Семёнович украшает действительность, а это, между прочим, две большие разницы.

— Памятник-то на месте небось, — не сдавался пушкарь.

— На месте, на месте, — милостиво согласился Беленький. — Так я ж фраеру и не памятник продал, я ему продал спокойствие за родную культуру, он до Ростова ехал счастливый.

Сзади сдавленно ржали в кулаки. Это хорошо, смеются — значит, не думают о зареве за спиной. Пусть смеются, пока идётся.

А впереди уже светало.

А на востоке, куда мы шли, где вставало солнце и по всем картам находился наш тыл, наши переправы, наш берег, вдруг встали в светлеющее небо два столба чёрного дыма. Далёкие, жирные, они тянулись к небу предупреждающими восклицательными знаками. И тут между ними, гораздо ближе, чем должно было быть немцу, коротко и деловито простучал пулемёт.

Черных остановился, поднял руку, замер, вслушиваясь.

— Командир, — сказал он тихо. — Впереди стреляют, там, куда идём, — он повернулся ко мне, и в сером свете я наконец разглядел скуластое, спокойное, с прищуренными глазами таёжника лицо. — Немец уже там, мы опоздали.

Глава 4. По-своему

Пулемёт ударил снова ближе, злее, и на этот раз я узнал этот звук.

МГ-тридцать четыре, ни с чем не спутаешь его захлёбывающийся, слишком быстрый рокот, будто рвут плотную ткань. У нашего «максима» голос степенный, солидный: «та-та-та». У немца «рррряк, рррряк», тысяча двести выстрелов в минуту, лента течёт, как вода. Первый раз в этой жизни я слышал его вживую, а спина уже сама напряглась; тело помнило то, чего голова знать не могла.

Я вскинул кулак, и колонна встала. Полтора человека замерли в предутренней серости на дне лощины.

— Всем стоять. Тихо! — я подполз к гребню, вжался в землю рядом с Черных, который уже лежал там. И только когда успел, чёрт таёжный?! — Ну, глаз, что видишь?

Он, не шевелясь, долго смотрел вперёд, будто вращался в предутренний туман. Впереди, за пологим скатом, лежал хутор, десяток мазанок, колодезный журавль, плетни. Над одной хатой вился дымок, у околицы в садочке что-то темнело.

— Хутор, — сказал Черных тихо. — В хуторе немец. Немного. У крайней хаты пулемёт, вон там, за плетнём, вспышку видел. Ещё двое у колодца и машина за сараем, крыша железная блестит, вроде бронетранспортёр ихний. Мотоциклисты, может?

Разведка. Немецкий передовой мотодозор или разведбат вырвались вперёд клина, заняли хутор на перекрёстке дорог, сидят, стерегут. За хутором брод через Чир, а за Чиром, судя по нашей же стрельбе с той стороны, стоят наши. Немцы сели на пробку, и через эту пробку мне надо провести полтора человека с ранеными и бричкой.

В лоб нельзя, переть на пулемёт — это положить роту и не пройти. Обойти — потерять время, а времени нет, рассветёт. Значит, снять тихо и быстро, пока темно.

Я пополз обратно, собрал у брички командиров, Дорохова, Копылова, Мыколаенко и капитана-артиллериста. Присели в кружок.

— Слушай сюда. В хуторе немецкая разведка, с полсотни, не больше, но с пулемётами и бронёй. Сидят, нас не ждут, думают, они тут первые. В лоб не пойдём, сделаем так.

Я начал чертить прутиком по земле план, восемнадцать лет учил этому солдат. И хотя те солдаты были из другого века, словагодились те же самые.

— Копылов, твой взвод идёт в обход слева, по-над балкой, к садам. Пробираетесь тихо, ползком, без единого звука, заляжете и ждёте моего сигнала. Мыколаенко, ты обходишь справа, отрезаешь дорогу на запад, чтоб никто из хутора не удрал предупредить своих. Дорохов со мной и с охотником по центру, снимаем пулемёт и часовых. Как снимем, я даю ракету, нет ракеты, свистну. По сигналу Копылов бьёт с фланга, коротко, сильно, гранатами. Наша задача не хутор взять, а устроить панику и проскочить через брод, пока они не разобрались, сколько нас. Ясно?

— Ясно-то ясно, — крикнул Копылов, шахтёрская башка. — А ежели их там не полсотни, а полтыщи? Ежели за сараем не мотоциклы, а танки?

— Тогда, Копылов, мы это узнаем первыми и громко, — сказал я. — Но танки ночью в хуторе не ночуют посреди пехоты, танки жгут топливо и боятся гранат в темноте. Там разведка, верь мне.

— А чего это я тебе верить должен? — пробурчал Копылов, но не зло, а так, для порядка, как упрямый бык обязан пободаться, прежде чем впрячься. — Ты в роте без году неделя.

Дорохов открыл было рот осадить, но я его опередил.

— Правильно, — сказал я. — Не должен. Верить будешь после первого боя, когда тебя живым выведу, а пока выполняй, потому что я командир, а ты сержант, и брод один на всех. Пошёл!

Копылов посопел, но пошёл. И взвод его пошёл. Спорить можно до рассвета, а рассвет ждать не станет, кто-то должен решать, остальные исполнять, иначе всех перебыют, пока договариваются.

— Меня с собой возьмите, товарищ лейтенант, — придвинулся Беленький, когда остальные расплзлись. — В центр, к пулемёту.

— Тебе-то зачем в центр? — удивился я. — Твоё место при взводе.

— А затем, что в темноте по чужим карманам да по чужим часовым я первый спец, — зашептал одессит. — Я тихий, когда надо, тише мыши, не пожалеете, а то Черных ваш один на всех часовых надорвётся.

Черных, лежавший рядом, чуть повернул голову.

— Пушай идёт, — сказал сибиряк неожиданно. — Он верткий. Двое тише крадутся, чем один шумит.

От Черных это выглядело высшей рекомендацией, и я кивнул.

— Ладно, давай со мной. Но нож держи наготове, а язык за зубами. Хоть одну свою прибавтку в деле ввернёшь, оставлю немцам на память.

— Могила, товарищ лейтенант, — заверил Беленький, и глаза у него в темноте сверкнули уже не смешливо, а холодно, деловито. Наружу вылез совсем другой человек, тот, кого прятал балагур.

Мы поползли по центру, я, Дорохов, Черных, Беленький и с нами двое покрепче. От холодной росы гимнастёрка вымокла в минуту. Пулемёт у плетня погромыхивал в сторону наших, за Чир, короткими, для острстки очередями. Пулемётчик нас не видел, смотрел на восток, откуда стреляли, а мы ползли с юга.

За полста шагов до плетня Черных тронул меня за сапог, приложил палец к губам, показал, мол, дальше я один, и скользнул вперёд, в траву, будто растворился.

Я лежал, вжавшись в землю, и слушал. Пулемёт изредка рявкнет, и снова тишина. Где-то у колодца негромко переговаривались двое, по-немецки, лениво, сонно. Один засмеялся. Прошла минута, две...

Рядом застыл Дорохов, прижав к плечу приклад, я чувствовал, как он напряжён. Старый солдат, а всё одно ждать чужой ножевой работы в темноте тяжело, куда тяжелее, чем самому идти.

— Долго что-то, — выдохнул он мне в самое ухо. — Не попался бы.

— Не попадётся, — также тихо ответил я. — Он не человек, тень. Жди.

И правда, ни звука не донеслось оттуда, куда уполз Черных, ни вскрика, ни возни, ни лязга, только пулемёт коротко твякнул ещё раз и умолк. И эта его внезапная немота сказала мне больше, чем сказал бы любой доклад: пулемётчик мёртв, Черных у плетня, дорога открыта.

Пулемёт больше не ожил.

Черных возник рядом так же беззвучно, как исчез. В руке он держал нож, и обстоятельно, как после работы, вытирал его о траву.

— Двое у плетня, — выдохнул он мне в ухо, — готовы. Пулемёт наш. У колодца ещё двое, спиной сидят, остальные спят в хате, я слышал, храпят. Командир, брать надо сейчас, светает.

Небо и правда серело на глазах, ещё десять минут, и нас увидят.

Я решился.

— Дорохов, к пулемёту, разверни его на хату. Беленький, со мной к колодцу тенью, Черных, прикрываешь. Как начнётся, бей по тем, кто с оружием кинется. Пошли.

Мы поползли к колодцу, я и Беленький, вдоль плетня по мокрой траве. Двое немцев сидели у сруба спиной к нам, курили в кулак, тихо переговаривались. Один зевнул, потянулся. Сонные, спокойные, они и вправду думали, что тут, в глубоком тылу собственного прорыва, им ничто не грозит.

Я тронул Беленького за плечо, показал, левый твой, я к правому. Одессит кивнул. И вот тут я увидел другого Беленького, не балагура, не жулика с полным карманом баек, а человека, который умеет убивать тихо. Он подобрался к своему немцу сзади, бесшумный, как кошка, и сделал всё в одно движение, коротко, страшно, без единого лишнего звука. Я в тот же миг взял своего. Оба немца осели у колодца, будто задремали.

— Где так научился? — выдохнул я, когда мы залегли.

— Одесса, товарищ лейтенант, — также тихо ответил Беленький, вытирая руку. — Порт. Там, знаете, тоже иной раз требовалось, чтоб человек замолчал и не шумел. Другая, конечно, публика, но школа схожая, — и, помолчав, добавил. — Не думайте про меня плохо, я по мокрому не любитель, но раз надо, так надо.

Дорохов уже развернул трофейный МГ на спящую хату. И тут в хуторе кто-то всё-таки проснулся, то ли до ветру вышел, то ли почуял. Вскрикнул по-немецки, коротко и страшно, и я понял, что тишина кончилась.

— Ракету! — выдернув из-за пояса ракетницу, вскинул, хлопнул в светлеющее небо. Зелёная звезда повисла над хутором.

И хутор взорвался.

Слева, от садов, ударил взвод Копылова одновременным броском гранат и криком «ура», которого по численности своей никак не заслуживал, но в темноте да спросонок один орущий взвод звучит как полк. Дорохов длинной, во всю ленту очередью прошёлся из немецкого же пулемёта по хате, откуда выскакивали полуодетые фигуры. Черных бил экономно, по одному выстрелу, и каждый раз кто-то падал. Я видел это краем глаза и не успевал удивляться, только считал: раз... два... три... Он не промазал ни разу.

Немцы, как я и рассчитывал, не поняли, сколько нас. В темноте, спросонок, когда со всех сторон стрельба, когда загорелась хата, а свой же пулемёт бил по ним... Они решили, что попали в окружение, что на них навалились крупными силами, и побежали кто в исподнем, кто похватав сапоги, к сараю, к своим мотоциклам, заводить, удирать. Мыколаенко справа встретил их на дороге огнём, и часть полегла там, а часть, взревев моторами, всё-таки прорвалась на запад. Ну и пусть, мне их ловить незачем.

— Рота, вперёд! Через хутор, к броду, бегом! Ванька, бричку гони! — заорал я.

Толпа бойцов, топоча, хлынула через хутор, а я стоял у горящего плетня и подгонял, подгонял, потому что теперь важна каждая секунда, чтобы проскочить, пока немцы не опомнились.

Через хутор, мельтеша в дыму, бежали люди, но не всё прошло гладко. У крайней хаты из-за угла на нашу колонну выскочил немец, здоровый, полуодетый, с автоматом, и полоснул очередью прямо в бегущих. Двое упали. Я вскинул наган, но меня опередил Дорохов, срезал немца от бедра, коротко, не целясь, как бьют по чутью старые солдаты.

— Не задерживаться! — рявкнул старшина. — Раненых волоки, убитых после!

У колодца заклинило бричку, колесо застряло в яме. Ванька дёргал гнедую, та храпела, пятилась.

— Ванька, не рви узду! — крикнул я, подбегая. — Под колесо жердь, приподними! Эй, двое, навались!

Навалились, подняли, вытолкнули, бричка пошла. Ванька, весь мокрый, гнал её к броду, оглядываясь на меня круглыми глазами. Первый его настоящий бой шёл прямо у него на глазах, и мальчишка не сбежал, держался за дело, а это уже кое-что.

Мы проскочили. Полтора человека, бричка с ранеными, трофейный пулемёт, который Дорохов уволок на плече, всё это сыпануло через мелкий брод, поднимая тучи брызг, на восточный берег Чира, к своим.

Последним через брод не спеша переходил Черных, будто и не было позади вырезанного им боевого охранения. На плече он тащил ещё один трофейный МГ, второй по счёту.

— Куда тебе два пулемёта, глаз? — спросил я.

— Не мне, роте, — коротко ответил сибиряк. — Был у нас один целый да ещё второй, с погнутым щитом, теперь три, а с куда тремя веселее, — он помолчал, оглянулся на догорающий хутор. — Чисто вышло, командир. Как ты сказал, так и вышло. Первый раз вижу, чтоб командир сказал, и всё по слову сделалось.

— Не последний раз увидишь, — сказал я.

— Может, и не последний, — согласился Черных и впервые за все дни посмотрел на меня с чем-то вроде уважения. Потом закинул пулемёт поудобнее на плечо и пошёл к своим, а я ещё постоял, глядя ему вслед и подумав, что этот молчун из тех, кого один раз завоюешь, зато уж навсегда.

На том берегу за наспех вырытыми окопчиками поднимались навстречу серые от бессонницы лица. Наши, пехота! Кто-то в командирской фуражке бежал к нам вдоль окопов, придерживая планшет.

Я обернулся. За спиной, на западном берегу, догорал хутор, и в сером рассвете было видно, как моя рота, усталая, грязная, мокрая по пояс, но живая, собирается на восточном.

Дорохов уже бормотал мне на ходу:

— Двое раненых, лёгкие, один убитый, из копыловских, пулей в голову.

Почти вся живая.

Ко мне подошёл Копылов, тот самый упрямый шахтёр, что полчаса назад бубнил «а чего это я тебе верить должен». Гимнастёрка разодрана на плече, по щеке чёрная полоса гари, в руке немецкий автомат, подобранный в хуторе. Он остановился передо мной, помолчал, пожевал губами и протянул руку просто, по-рабочему.

— Ну, — сказал он, — вывел, как обещал.

Я пожал грубую мозолистую ладонь.

— А ты сомневался?

— Сомневался, — не стал юлить Копылов. — Теперь не сомневаюсь. Ты, командир, того... ты приказывай, мы за тобой, — он повернулся и пошёл к своим, и это было дороже любого ордена. Упрямый бык впрягся сам, по своей воле, а такой уже не выпряжется.

Дорохов, стоявший рядом, крикнул одобрительно:

— Копылова уломать — это, товарищ лейтенант, посильнее чем хутор взять. Его прежний ротный полгода не мог, а вы за одну ночь.

А из-за брода, разбрызгивая воду и матерясь от счастья, выбирался Беленький. Он тащил на себе такое количество трофейного добра, что напоминал не бойца, а лоточника с одесского Привоза. На шее два немецких автомата, через одно плечо офицерский планшет, бинокль в футляре на ремешке, фляга в войлоке, через другое здоровенный ранец, а на локте... наша русская гармошка.

— Товарищ лейтенант! — заорал он ликующе. — Вы гляньте, чего у них было! Часы, две штуки, ход, как у крейсера! Во, гармонь, консервы с рыбой! Гад буду, с рыбой в масле! И вот, — он потряс какой-то бумажкой, — карта ихняя! Не разумею ни бельмеса, но раз немец рисовал, значит, важная. Продать некому, так хоть вам сгодится.

Карта! У меня ёкнуло внутри. Немецкая карта, снятая с разведдозора — это не консервы с рыбой, это могло быть золото.

— Карту сюда, — сказал я быстро. — Молодец, Аркадий. Остальное твоё, заслужил. Только одни часы отдай в санвзвод Зориной, ей время, когда жгуты ставит, засекать нечем.

— Двое часов и одни бабе? — Беленький схватился за сердце с видом смертельно раненого. — Товарищ лейтенант, вы мне душу режете! Ну да ладно-ладно, отдам, но исключительно потому, что Катерина — барышня видная, а я культурный.

— Культурный он! — фыркнул Дорохов. — Жук ты навозный, а не культурный. Иди, культурный, покажись санинструктору, у тебя рука в крови, проверь, своя или чужая.

Я развернул немецкую карту и на минуту забыл про всё. Это оказалась рабочая карта разведбата с пометками, со стрелками, с номерами частей, отмеченных синим карандашом. Я не так силён в немецком, но военную карту читаешь не по словам, а по знакам, и то, что я на ней увидел, мне очень, очень не понравилось. Стрелки шли к Дону широким веером, обходя нас с севера, и одна из них жирно упиралась в точку, подписанную по-немецки, чужими буквами, но я узнал это слово, от которого этим летом стыла кровь у всякого, кто понимал. Калач, мост через Дон.

Сложив карту, сунул за пазуху. Вот с этим уже можно идти к начальству. Не с пустыми руками пришёл, а с добычей, которая дороже роты пленных.

И тут я услышал за спиной незнакомый голос, резкий, недобрый, из тех, что портят настроение одним тембром.

— Кто такие?! Кто командир?! Почему без приказа перешли реку, почему стрельба на том берегу, кто разрешил?!

Я обернулся. Ко мне, застёгивая на ходу командирскую портупею, шёл поверх окопов человек, немолодой, поджарый, с малиновыми петлицами и таким лицом, будто съел лимон. За ним едва поспевал давешний командир с планшетом, что-то виновато объясняя.

— Младший лейтенант Дементьев, — сказал я. — Вывел роту из-под Суровикино. Смял немецкую разведку в хуторе, прошёл к своим. Убит один, есть раненые. Трофеи, пленных, извините, брать было некогда.

Человек с малиновыми петлицами медленно, оценивающе, смерил меня взглядом с ног до головы, и взгляд этот мне сразу не понравился. Так смотрят не на человека, а на дело, которое ещё предстоит завести.

— Смял, значит? — сказал он тихо. — Прошёл? — Он оглядел мокрую живую роту на берегу, трофейные пулемёты, бричку с ранеными, и в глазах мелькнуло что-то кроме служебной сухости: не то удивление, не то невольное уважение. — Ладно вывел, чисто. Не всякий комбат так выведет. — И тут же, спохватившись: — А документики, товарищ младший лейтенант, у вас имеются? Роту на каком основании приняли, приказ, запись есть?

Глава 5. Особый отдел

— Конечно, — я полез в карман гимнастёрки, но лейтенант жестом остановил меня.

— Сначала сдать всё трофейное оружие! Нам не нужны подачки от врага, да и патронов к нему совсем немного.

Пока все передавали захваченное у немцев оружие трофейной команде, нквдшник молчал, дожидаясь окончания процесса, а затем произнёс:

— Руки покажите, товарищ младший лейтенант. Обе.

Я показал. Гладышев, лейтенант государственной безопасности, так его назвал подбежавший командир с планшетом, взял мои ладони и повернул их к свету, будто барышню приглашал на танец, и внимательно осмотрел. Костяшки сбиты, под ногтями кровь, на правой свежий порез.

— В хуторе ножом работали, — сказал он негромко.

— Работал, — согласился я. — Часовых снимали, старались тихо, чтобы не кричали.

— Кто ещё снимал?

— Двое, сержант Черных и Красноармеец Беленький.

Гладышев отпустил мои руки. Лицо его вызывало неприязнь не чертами (обыкновенное, худое, усталое), а вниманием. Он смотрел на меня, как смотрят на арифметическую задачу, в которой не сходится ответ, будто спокойно искал ошибку в условии.

— Присядем, товарищ Дементьев, — сказал он и показал на бревно у окопа. — Разговор есть.

Мы сели. Берег вокруг оживал. Моя рота растекалась по окопам, санитары тащили раненых, Дорохов уже с кем-то ругался из-за места для брички. Обычная суeta. А мы сидели на бревне, и я понимал, что предстоит не разговор, а допрос, просто вежливый.

— Слушаю вас, — сказал я.

— Это я вас слушаю, — Гладышев достал из планшета листок, послунывил карандаш. — Давайте по порядку. Дементьев Алексей Николаевич, младший лейтенант, командир взвода третьей роты. Так?

— Так.

— Училище закончили когда?

— В мае, пехотное, ускоренный выпуск.

— До фронта сколько служили?

— Три недели, из них полторы в эшелоне.

— Три недели, — повторил Гладышев и что-то пометил. — И за эти три недели вы, товарищ Дементьев, научились так брать под контроль панику во время бомбёжки, что вас слушается чужой полк, снимать ночью ножом немецкое боевое охранение без единого выстрела, водить роту по балкам в обход, как старый разведчик и класть немецкую разведгруппу в хуторе, потеряв всего одного человека, — он поднял на меня глаза, и в них против воли было признание сделанного. — Я двадцать лет служу и, скажу прямо, редко такое видел. Комбаты со стажем так не выводят. Меня это, товарищ Дементьев, не пугает, меня это удивляет. А удивляться я не люблю: где не сходится, там обязан разобраться. Откуда всё это у вчерашнего курсанта?

— Мне двадцать два года, товарищ лейтенант, — сказал я спокойно. — Ни в какой прежней армии служить не мог, сами посчитайте. В Гражданскую я под стол пешком ходил.

— Верю. Годы не подделаешь, — он не отвёл взгляда. — Тогда откуда такие знания?

Вот он, вопрос, тот самый, что задал вчера Дорохов, только тому я отбрехался про руки, которые помнят, и старику этого хватило, а Гладышеву не хватит. Человек из госбезопасности не поверит ни в руки, ни в продвинутое училище, ни во что другое, потому что ему по должности положено не верить, и он в этом хорош.

Врать больше, чем нужно, глупо, поэтому я выдал ему единственную версию, какую он мог принять, и которая являлась почти правдой.

— Контузия, — сказал я. — Под Суровикино, при первом налёте. Врач в медсанбате подтвердит, если дойдём до медсанбата. Многое из жизни не помню: ни лиц, ни как в училище учился, но голова на бой работает как не работала раньше. Сам не пойму почему, может, трянуло удачно.

— Удачно, — без выражения повторил Гладышев.

— А может, товарищ лейтенант, дело проще? — я посмотрел ему в глаза. — Может, я всю жизнь был такой, только случая не представилось показать. Война в человеке иной раз открывает то, чего он сам про себя не знает. Вы небось тоже до тридцать седьмого не думали, что в особисты пойдёте.

Он чуть сузил глаза. Укол принял, но виду не подал.

— Речь не обо мне, — сказал он. — Хорошо, допустим, контузия, допустим, дар открылся, но вы понимаете, товарищ Дементьев, что мне на «допустим» полагаться нельзя. Вы вышли из окружения один, без командира. Мне доложили, что ротный ваш при смерти, и я это тоже проверю. Вы двое суток находились вне расположения, на территории, где ходит немец, а за это время с вами могли... побеседовать и отправить обратно с заданием. Такое случается чаще, чем хотелось бы.

— Бывает, — согласился я. — И проверять ваша работа, понимаю, только я вам, товарищ лейтенант, вместо оправданий кое-что покажу, пригодится больше, чем моя биография.

Я расстегнул гимнастёрку и достал из-за пазухи сложенную вчетверо немецкую карту.

— Снял с убитого в хуторе. С пометками их разведбата.

Гладышев взял карту не сразу, сначала долго смотрел на меня, потом развернул, и я увидел, как его лицо, до того бесстрастное, дрогнуло. Он был неглуп и военную карту читать умел.

— Где вы её взяли?

— Сказал же, в хуторе. Хотел комполка отдать, да вы первый подвернулись.

Его палец поблуждал по синим стрелкам, а когда дошёл до жирной, упёртой в подписанную точку, остановился.

— Калач, — сказал он тихо.

— Калач, — подтвердил я. — Через него дорога на переправы. И судя по этой стрелке и по номерам, что тут проставлены, немец пойдёт туда не позже чем через неделю-полторы крупными силами. Вот это, товарищ лейтенант, надо не в карман совать, а сегодня же гнать в штаб дивизии с нарочным, пока стрелка на бумаге, а танки не на переправе.

Гладышев поднял на меня глаза, и в них появилось новое выражение. Не доверие, нет, до этого было далеко, а расчёт. Он прикидывал «шпион или не шпион» и «что мне с этим делать».

— Складно, — сказал он наконец. — Слишком складно, товарищ Дементьев. Вышли из окружения и сразу с немецкой оперативной картой в кармане. Другой бы решил, подбросили, чтобы мы поверили и клюнули.

— Другой бы решил, — кивнул я. — А вы человек умный и понимаете, что если б немцы хотели нам карту подсунуть, они бы её подсунили красивее, не в хуторе, где мы их резали, а так, чтоб мы её «случайно нашли». А эту я вырвал с боем вместе с их кровью и на ней правда. Вы её нутром чувствуете, потому и палец у вас на Калаче дрогнул.

Он медленно сложил карту, убрал в свой планшет.

— Вот что, товарищ Дементьев, — сказал он, вставая. — Карту я забираю и отправлю по инстанциям, тут вы правы. И ещё: трофей у вас богатый — пулемёты, мотоциклы, стволы. Всё предъявить и оприходовать по описи, чтобы не «нашли — растащили», а числилось за ротой. Что в дело годно, пулемёты те же, оставляйте себе: вам держать оборону, оружие лишним не будет. Что сверх нужды и что не наше — мотоциклы, документы — сдадите в тыл по акту. Ясно?

— Ясно, — сказал я. — Предъявлю и оприходу. Пулемёты роте нужны, их оставлю.

— Оставляйте, — он помолчал. — А вы пока воюйте при своей роте, но проверить я вас обязан, уж не обессудьте, так положено. И запомните одно.

— Что?

— Если вы тот, за кого себя выдаёте, вы мне очень пригодитесь, и я первый вас прикрою. А если нет... — он не договорил, но это и не требовалось. — В общем, живите как жили, и знайте, я за вами наблюдаю.

— Договорились, — сказал я. — Только и вы, товарищ лейтенант, запомните. Пока вы на меня смотрите, смотрите заодно и на карту, что я принёс. Немцу до Волги идти месяц, и нам этот месяц надо прожить.

Он не ответил, повернулся и пошёл к землянкам прямой, сухой, локтем прижимая к боку планшет с картой.

Я выдохнул. Первый раунд я не выиграл, с такими не выигрывают, но и не проиграл, ничья, а ничья с особистом в сорок втором году — это, считай, победа.

Комполка нашёлся через час в блиндаже на обратном скате. Подполковник Зотов, грузный, немолодой, с воспалёнными от бессонницы глазами, сидел за столом из снарядных ящиков, слушал меня, подперев голову кулаком, и то и дело клевал носом. Не от равнодушия, а от того, что уже четверо суток без сна.

— Роту принял под Суровикино, товарищ подполковник. Вывел к вам сто сорок штыков, из них своих девяносто, остальные прибившиеся из разбитых частей, артиллеристы капитана Стеценко и прочие. Раненых сдал в медсанбат. Ротный, старший лейтенант Ребров, болен, малярия.

— Знаю про Реброва, — буркнул Зотов. — Хороший командир, жалко. Стало быть, роту тянешь ты, — он оглядел меня с ног до головы. — Молод больно. Ну да сейчас все молодые, кого постарше уже... — он махнул рукой, не договорив. — Особист про тебя чего говорит? Был он тут, шепнул мне пару слов.

— Проверяет, — сказал я. — Это его работа.

— Его, его, — Зотов невесело усмехнулся. — Ну, а по мне так плевать, из бывших ты, из контуженых или из самого пекла, мне командиры нужны, которые роту не растеряли. Ты не растерял, значит, командуй.

Он развернул на ящиках карту, нашу, потрёпанную, с карандашными пометками.

— Слушай задачу. Полк держит рубеж по реке Чир, вот тут. Левый фланг — твой участок. Высотка с отметкой, при ней хутор, за хутором брод, тот самый, через который ты ночью прошёл. Немец через этот брод не сегодня-завтра полезет обязательно, и твоя рота должна его держать, сколько сможет. Сосед у тебя справа — батальон Куприянова, слева голая степь да божья милость. Артиллерии дам одну сорокапятку, больше нет. Патронов... — он поморщился. — Патронов мало, есть гранаты. Вопросы?

— Парочка есть. Не найдётся винтовки с оптикой? У меня один из бойцов охотник-сибиряк, его даже обучать не надо.

— Поищем. Что ещё?

— А второй... — я смотрел на карту, и в голове уже раскладывалось, где рыть, где ставить пулемёты, где немец пойдёт и где его встретить. — Разрешите оборону строить по своему разумению, не по уставной ниточке, а как я вижу?

Зотов поднял на меня тяжёлый взгляд:

— Это как же ты видишь?

— Не сплошной линией, а опорными узлами, в глубину. Ложные позиции впереди, настоящие за обратным скатом. Пулемёты хочу поставить не в лоб, а по флангам, кинжально, чтоб немец втянулся и попал в мешок.

Наступила тишина. Зотов смотрел на меня долго, и я не понимал, сейчас рывкнет «выполнять по уставу» или...

— Вон оно как? — тихо сказал он наконец. — По-немецки, значит, хочешь, чтоб огневые мешки, — он потёр небритую щёку. — Знаешь, лейтенант, меня за такие слова в тридцать восьмом бы... — комполка не договорил. — А чёрт с ним! Немец нас этим и бьёт, что не по ниточке воюет. Строй как видишь, отвечать всё равно мне, так хоть за дело помру.

Он вдруг подался вперёд, сон с него слетел:

— Только одно запомни, Дементьев. Отойти с этой высоты я тебе права не дам, приказ стоять за брод, за высоту, за каждый бугор, куда живой. Понял меня?

— Понял.

— Ступай и... — он замялся, отвёл глаза. — людей побереги, коли сумеешь. Молодые они у меня, жалко.

Я вышел из блиндажа на закат. Рота уже окапывалась на высоте, вгрызалась в сухую донскую землю, лопаты цокали о камень. Дорохов шёл мне навстречу, вытирая пот:

— Ну что, командир? Дали чего? Пушку, пополнение?

— Одну сорокапятку дали и приказ стоять насмерть. Собирай взводных, Кузьмич. Копылова, Мыколаенко, Черных, пушкаря. Оборону будем ставить не так, как привыкли.

Через четверть часа они сидели передо мной на корточках у моего наспех отрытого окопчика, все четверо взводных, Черных плюс сержант-артиллерист от сорокапятки, кислый малый по фамилии Гнатюк. Я чертил прутиком по земле, как ночью перед атакой на хутор.

— Смотрите сюда. Вот высота, вот брод, вот хутор. Немец точно пойдёт через брод, больше нигде, пойдёт в лоб, на высоту, потому что кто высотой владеет, того и брод. Полезет вот сюда, на скат.

— Ну, так и встретим его на скате, — сказал Копылов. — Окопаемся по гребню, ляжем и будем бить. Чего мудрить?

— Будем бить, — согласился я. — Ровно до той минуты, пока он не накроет гребень миномётами, а накроет он его через пять минут. Гребень весь как на ладони, пристрелян, и ляжет тогда не немец, а мы. По уставу оно красиво: рота на высоте, знамя, «ни шагу назад». По уставу нас и похоронят красиво.

Копылов насупился, потому что крыть нечем, сам финскую прошёл, знал про миномёты.

— А как надо? — спросил Мыколаенко, робкий хохол, которому всё это явно не нравилось.

— А надо так. По гребню роем ложные окопы, пустые. Накидаем в них веток, тряпья, пару касок на палки насадим, костерок дымный оставим, пусть немец думает, тут наша оборона, пусть по гребню миномёты и высадит. А настоящие окопы, полного профиля, роем вот здесь, на обратном скате, ниже гребня, откуда он нас не видит, и сидим тихо.

— Так с обратного-то ската я сам немца не увижу, пока он на гребень не влезет! — возразил Копылов.

— Вот именно. Он влезет на гребень, думая, что там пусто, что миномётами всех положил, и окажется на голом месте силуэтом на закате в тридцати шагах от нас. А мы его в упор! Понимаешь разницу? Не мы под его миномётом на виду, а он под нашими пулями как на ладони.

Копылов медленно расплылся в улыбке, шахтёрская башка сработала.

— Хитро, — сказал он. — Ох, хитро, командир! Это ж он сам к нам в мешок и влезет.

— В мешок, — кивнул я. — Теперь пулемёты. Гнатюк, куда свою сорокапятку поставишь?

Артиллерист пожал плечами.

— Куда велишь. По уставу на прямую наводку, на гребень, танки встречать.

— На гребень не ставь, сожгут первым же снарядом, сам знаешь. Поставим вот сюда, сбоку, в капонир, под хутором за плетнём и замаскируем. Ты молчишь, пока танк не пройдёт мимо, а как пройдёт, бьёшь ему в борт. Запомни, в борт, не в лоб; лоб у него толстый, а борт тонкий. Один твой выстрел в борт стоит десяти в лоб. Сдюжишь?

Гнатюк впервые оживился, кислое лицо его дрогнуло.

— В борт-то? В борт сдюжу. В борт его любая сорокапятка берёт. Это ты дело говоришь, лейтенант, а то нас всё в лоб ставят, на убой.

— Пулемёты тоже расставим по флангам, один в хуторе, второй вон за той промоиной, чтоб били не в грудь наступающим, а в бок, вдоль цепи, кинжально. Немец полезет на высоту, а мы его с двух сторон крест-накрест срежем, он и не поймёт откуда. Черных.

Сибиряк, до того молчавший, поднял глаза.

— Ты завтра не в окопе, а с напарником вон на той сухой берёзе за промоиной или где сам присмотришь. Твоя работа — офицеры и пулемётчики. Как начнётся, выбивай тех, кто командует и кто из пулемёта бьёт, без командиров немец слепнет. Понял?

— Понял, — сказал Черных и, подумав, добавил. — Напарника дай Корнеева Петьку, пуцай при мне обвыкает, чем в цепи со страху бегать, досмотрю за ним.

Я глянул на Дорохова, тот кивнул, дело, мол. Старик Пантелеев опекал Петьку днём, теперь охотник ночью подберёт. Мальчишку передавали из рук в руки, как эстафету, и это правильно.

— Быть по сему, — подвёл итог я. — Всё, бойцы, до темноты рыть окопы, ложные на гребне, настоящие на обратном скате, пулемёты во фланг, пушку в капонир. К рассвету чтоб земля была готова, немец ждать не станет.

Они разошлись рыть.

Ложные позиции на гребне я поручил Беленькому и не прогадал. К сумеркам одессит развернулся так, что залюбуешься: набил старые гимнастёрки соломой, насадил на колья пробитые каски, воткнул в бруствер палки с котелками; издали не отличить от касок, а уж ночью из немецкого бинокля и подавно. У одного чучела он даже приладил самокрутку в «рот» и поджёт, чтоб дымилась.

— Товарищ лейтенант, принимайте гарнизон, — доложил он, сияя. — Взвод имени меня. Не пьют, не бегают, немца не боятся. Идеальные бойцы! Одна беда, что стрелять не умеют, но немцу это мы сообщим не сразу.

— Хорош гарнизон! — согласился я. — Особенно вон тот, с самокруткой, вылитый Пантелеев.

— Обижаете, — Беленький погладил соломенное чучело по каске. — Это не Пантелеев, это, товарищ лейтенант, самолично Гитлер после того, как сунется на нашу высоту.

Из окопа кто-то фыркнул, даже угрюмый Гнатюк, возившийся со своей пушкой в капонире, крикнул.

Дорохов задержался у моего окопа, посмотрел на запад за реку, где садилось солнце и где, я знал это точно, уже подтягивались к бродам немецкие передовые части.

— Складно придумал, — сказал он негромко. — Немца в его же капкан. Только ты, командир, не сердчай на то, что скажу. Придумать ещё полдела, беда в том, что люди у нас сырые. Половина завтра со страху из настоящего окопа в ложный побежит, к своим, к куче. Удержать бы.

— Удержим, — сказал я. — Ты да я, да старики твои. Расставь стариков по одному в каждое отделение к молодым, чтоб рядом с каждым Петькой был свой Пантелеев.

— Это дело, — Дорохов кивнул. — Ты только скажи, лейтенант, долго держать-то? Сутки? Двое?

Я ответил не сразу, потому что по всему, что помнил про это лето, держать нам предстояло не сутки и не двое. Держать предстояло, пока живы.

А за рекой в подступающих сумерках коротко и далеко зарокотал моторами первый немецкий дозор, выходя к броду.

Глава 6. Огневой мешок

Немецкие мины накрыли гребень в четыре утра, уничтожив взвод соломенных чучел.

Я лежал в настоящем окопе на обратном скате, вжавшись щекой в холодную землю, и слушал как наверху, в двадцати шагах выше по склону, рвётся ад. Немец не жалел мин, он молотил по гребню методично, квадрат за квадратом, вспахивая ложные окопы, кроша каски на палках, поднимая в воздух набитые соломой гимнастёрки. С той стороны реки, наверное, выглядело красиво, как русская оборона на высоте перемешивается с землёй.

Рядом, уткнувшись в бруствер, дрожал Ванька Селезнёв. Не от страха даже, от близости разрывов. Земля прыгала под нами, за шиворот сыпался песок, в ушах стоял сплошной звон.

— Живой, Ванька? — крикнул ему в ухо.

— Ж-живой! Товарищ лейтенант, а чего мы не стреляем?! Он же нас всех щас...

— Кого это «всех»? — я показал наверх. — Он солону наверху треплет, наших там нет. Лежи и жди, наша минута наступит потом.

Пантелеев, вжавшийся в землю по другую сторону от мальчишки, лишь молча положил ему на спину тяжёлую ладонь и просто придавил, как придавливают, чтоб не выскочил. Ванька затих.

Обстрел бил минут двадцать. Дорогая это работа — двадцать минут молотить пустое место. Я лежал, считал разрывы и тихо радовался, ведь каждый снаряд, всаженный в чучело, это мина, не всаженная в живого. Пусть тратят, пусть думают, что перепахали нас в фарш.

Слева по окопу кто-то не выдержал, заскулил тонко, по-щенячьи. Я узнал голос Корнеева Петьки, того самого, что позавчера ломанулся в степь под осветительными. Только теперь ему бежать было некуда, он лежал в яме, и над ямой ходила земля.

— Пантелеев, — позвал вполголоса.

— Тут я уже, держу его, — отозвался старик из темноты. — Ты, Петька, дыши. Слышь, дыши, как я: на счёт раз-два вдохнул, на три-четыре выдохнул. Оно, милоч, всегда так, сперва страшно, потом привыкнешь. Я на финской в первый обстрел в снег зарылся, чуть не оглох от собственного сердца, а видишь, живой, до внуков дожил бы, кабы не Гитлер, чтоб ему.

Скулёж стих, но старик продолжал что-то бубнить мальчишке. В такой ситуации важны не слова, а ровный, скучный, домашний голос, будто на завалинке про сенокос.

— Товарищ лейтенант, — придвинулся ко мне по дну окопа Дорохов, весь обсыпанный землёй. — Молодые держатся покамест, но как немец в рост пойдёт, иные могут и сдрейфить. Первый бой как-никак.

— Не дам сдрейфить, — сказал я. — Передай по цепи, без моей команды никто не стреляет и головы не поднимает. Кто выстрелит раньше, тому я лично уши оторву, скажи так. Им сейчас нужен не приказ «стой», им нужно дело в руках, а оно навалится через пять минут.

Дорохов уполз с этим по окопу. Я слышал, как моё слово шло от бойца к бойцу: «командир велел без команды не стрелять, а то уши оторвёт», и как за это дурацкое «уши оторвёт» люди цеплялись, словно за перила. Их пугал не немец, а неизвестность и безделье под огнём, а тут понятная задача и понятная кара, за это и держатся.

Стихло враз, резко, и в звенящей тишине снизу, от брода, донеслось то, чего я ждал: плеск воды, лязг металла, гортанные команды. Немец пошёл. Черных, молча махнув Петьке рукой, мол, дуй за мной, быстро пополз на свою позицию,

— Приготовились, — передал я по цепи, вполголоса. — Не высовываться, без команды не стрелять. Подпустим на тридцать шагов.

Приказ эхом пошёл по окопу, передаваясь от бойца к бойцу. В паузах кто-то часто-часто дышал, кто-то шептал молитву, а кто-то крыл матерком.

Я осторожно выглянул. По скату снизу вверх к перепаханному гребню поднималась немецкая пехота. Шли уверенно, в полный рост, не пригибаясь. А чего пригибаться-то, когда всё перемолото миномётами? Впереди, чуть сбоку от цепи, вышагивал офицер, помахивая рукой и что-то командуя, за ним пулемётчик тащил на плече свой МГ. Их было много, полноценная рота.

Они добрались до гребня, влезли на голое, перепаханное, дымящееся место, где только что в пух и прах растрепало целую роту соломы, и встали. На несколько секунд они замерли, растерянно оглядываясь вокруг. Где окопы, где мёртвые русские, где хоть что-нибудь? Пустой гребень, обманка.

Эти секунды принадлежали мне.

Немцы маячили на гребне чёткими чёрными силуэтами на светлеющем небе в тридцати шагах от нас, выпрямившись в полный рост. Лучшей мишени я в двух жизнях не видел.

— Огонь!

Высотка ударила снизу вся разом. Полста винтовок и два пулемёта с обратного ската хлестнули по гребню в упор, не вверх, не наугад, а по ясным силуэтам на фоне зари. Я видел, как немцев сметает, сдувает, словно ветром, целыми кусками цепи. Пулемёт Копылова из хутора бил вдоль гребня слева направо, кинжально. Немецкая рота, влезшая на совершенно голое место, оказалась в перекрестье, и деться ей было некуда: назад скат, впереди мы, а по бокам пулемёты.

Черных работал со своей берёзы чётко, как в тире. Я не слышал его выстрелов в общем грохоте, но видел результат. Офицер, что помахивал рукой, ткнулся лицом в землю первым, потом упал пулемётчик, не успев лечь, потом второй, подхвативший было МГ. Черных снимал именно тех, кого я велел, командиров и пулемётчиков, и немецкая рота, потеряв за полминуты головы и стволы, превратилась из строя в толпу.

Толпа заметалась. Одни залегли за гребнем, пытаясь отстреливаться, но отстреливаться было некуда, ведь мы сидели ниже и по бокам, а они торчали на голом вершине, другие рванули назад, вниз, к спасительному броду. Унтер в каске набекрень пытался их завернуть, махал автоматом, орал «цурюк, цурюк», и не заметил, как остался один на гребне. Он торчал там ровно секунду, потом Черных аккуратно его снял, и последний командир немецкой роты закувыркался вниз по скату к своим.

— Копылов! — крикнул я вправо, где бил фланговый пулемёт. — По бегущим! Не давай уйти на брод!

— Даю! Даю прикурить! — донеслось сквозь грохот, и «максим» переложил очередь ниже, по скату, по спинам.

— Бей! Бей их, ребята! — орал Копылов, и я слышал в его голосе не злость даже, а дикий восторг восторга человека, который всю жизнь дрался в лоб и терял, а тут вдруг всё перевернулось с точностью наоборот.

Но не все побежали. Слева от меня, где сидел взвод Мыколаенко, десятка полтора немцев не покатались назад, а рванули прямо на нас, кидая гранаты, но не от храбрости, а от безнадёги. Назад скат простреливался насквозь, и они это поняли, логично решив, что уж лучше умереть, продав свою жизнь подороже, чем получить пулю в спину.

— Слева! — заорал я. — Гранатами их, гранатами, не подпускай!

Полетели «лимонки». Один немец, здоровый, в расстёгнутом мундире, всё же добежал до окопа Мыколаенко, прыгнул внутрь, и я увидел, как робкий хохол шарахнулся от него, выронив винтовку. Немец вскинул автомат...

Выстрелить он не успел, Пантелеев, оказавшийся рядом, без крика, без замаха, по-стариковски экономно всадил ему штык под рёбра снизу, как колют свинью на подворье. Немец охнул, сложился пополам. Старик выдернул штык, толкнул тело ногой на дно окопа и сплюнул.

— Мыколаенко, — сказал он спокойно, поднимая оброненную взводным винтовку и суя ему в руки. — Ты, милоч, оружие-то не кидай, оно от смерти помогает, ежели его держать.

Хохол, белый как мел, закивал, вцепился в винтовку. К окопу уже бежали двое из его взвода добивать прорвавшихся, но добивать было почти некого, гранаты и Пантелеев сделали своё дело. Ещё двое немцев, застрявших на бруствере, вскинули руки. «Камрад, камрад!» Их взяли, повалили, обезоружили.

— Живьём тех двоих! — крикнул я. — Не трогать, они нам ещё расскажут, кто за бродом стоит!

Немцы помчались назад, за гребень, к броду. Кто бежал, кто полз, кто катился кубарём, и тут-то их на открытом скате накрыло по-настоящему, в спину.

— Ванька! — крикнул я. — Смотри, как надо. Видишь того, что бежит? Веди чуть впереди него на полкорпуса и жми плавно. Не дёргай, пла-а-авно.

Ванька, белый, с трясущимися руками, прицелился, задержал дыхание, как я учил, и выстрелил. Немец споткнулся и упал.

— Попал! — выдохнул мальчишка, сам себе не веря. — Товарищ лейтенант, я попал!

— Попал, — сказал я. — Перезаряжай, не любуйся.

Он и не любовался. Лицо у мальчишки в этот миг стало такое, какое я потом ещё не раз увижу на войне у восемнадцатилетних, когда они первый раз убивают и понимают, что ты, оказывается можешь это сделать. Плохое лицо, но на войне без него не выжить.

Через десять минут всё закончилось. Скат перед высотой усыпали серые мундиры, немецкая рота осталась лежать на нём почти вся. Немногие, кто добежал до брода, уже плюхались в воду, перебираясь обратно на западный берег, и вслед им ещё постреливали для острастки.

Я поднялся, обошёл окопы. Рота смотрела на меня снизу вверх из ячеек чёрная от гари, ошалелая, и в глазах у них читалось то, ради чего командир и живёт. Люди поняли, что можно бить немца и не умирать при этом пачками, что можно вот так, наперёд думая головой.

— Потери? — спросил я подбежавшего Дорохова.

— Не поверишь, командир, — старшина казался сам не свой, тряс головой. — Трое раненых, из них один тяжёлый. Осколком в плечо при обстреле накрыло, в неглубоком окопе сидел. Ещё двоих на гребне тряхнуло разрывами: контузило, оглохли, шатают их, но на ногах. Убитых нет. Немца положили сотни полторы, целую ихнюю роту, а у нас ни одного убитого! Я на финской такого не видал. Это ж... это ж как? — Он посерьёзней, оглянулся на окопы. — Одно скажу: за десять минут почитай весь боезапас пожгли. Патронов на два таких боя не осталось, гранат половину истратили. А Зотов предупреждал, подвоза не жди.

— А вот так, Кузьмич, — сказал я. — Когда немец воюет по нашему уставу, а мы по его.

— Бойцы-то как воспряли, — Дорохов кивнул на окопы, где рота, отходя от боя, уже загомонила, задвигалась, кто-то даже засмеялся. — Ты глянь, ещё утром лежали, тряслись, а сейчас герои! Немца целую роту положили, сами целы остались. Теперь за тобой в огонь пойдут, командир, такое не забывается, первый выигранный бой да без своих покойников.

— Пусть порадуются, — сказал я. — Только ты им, Кузьмич, не давай задирать нос, скажи по-тихому, мол, сегодня немец сдуру пришёл голый, завтра придёт умный и с бронёй. Кто сегодня возгордится, завтра с этой гордости и ляжет. Пусть радуются вполголоса.

— Скажу, — пообещал старшина. — Это верно, гордыня на войне вперёд пули хоронит.

К нам подошёл расстроенный Гнатюк, сорокапятка его так весь бой и промолчала. Танки не пошли, а пехоте было жалко выдавать позицию.

— Товарищ лейтенант, я ж не стрельнул ни разу, — сказал он виновато. — Сидел, как дурак.

— И молодец, что сидел, — сказал я. — Тебя немец сегодня не видел, значит, завтра получит сюрприз. А пострелять ещё дадут, не переживай, придут и танки.

Гнатюк осёкся:

— Танки? Откуда знаешь?

Я не мог ответить ему прямо. Немец на Чире не остановится из-за одной битой роты, подтянет броню, ту, что этим летом ломала любую нашу оборону. А что мы положили его пехоту почти даром, для него булавочный укол.

Но проверить не мешало. Двух пленных, взятых в окопе Мыколаенко, молодого перепуганного ефрейтора и постарше, кряжистого, с равнодушными глазами обстрелянного солдата, приволокли ко мне. Немецкий у меня в этой голове оказался школьный, корявый, но на допрос хватило, а чего не хватило, договорил жестами и трофейной картой.

— Панцер? — спросил я, тыча пальцем за реку. — Танки? Где, сколько?

Молодой затряс головой, залопотал, мол, не знаю, я маленький человек, врал со страху. А старший посмотрел на меня, потом на своих убитых на скате и заговорил спокойно, обречённо, будто ему уже всё равно.

— Панцер, — сказал он и показал за реку, — морген.

Завтра, значит.

— Сколько? Вифиль?

Немец растопырил пальцы, показал десяток. Потом подумал, добавил ещё ладонь, видать, полк пехоты, и миномёты.

Подошедший Дорохов слушал, хмурясь.

— Чего лопочет, командир? Понимаешь его?

— Да так, через пень-колоду, — сказал я. — Говорит, за рекой танковая рота стоит. Утром должна была с пехотой идти, да к броду опоздала, оттого пехота к нам и пришла голая, без брони. А завтра, говорит, придут вместе. Панцеры, пехота, миномёты...

Дорохов крикнул, поскрёб щетину.

— Стало быть, свезло нам сегодня, — сказал он. — Кабы ихние коробки поспели к утру, лежали б мы, а не они.

— Свезло, — согласился я. — Только везенье, Кузьмич, на войне не повторяется.

— Данке, — сказал я немцу без насмешки. Тот кивнул, как кивают понимающему, и не сопротивлялся, когда его повели.

Обоих я отправил в тыл, к Гладышеву, пусть особист порадуется. Живые «языки» с точными сведениями ему в отчёт, а мне спокойнее, что не я один теперь знал про завтрашние танки. Пленный подтвердил то, что и так сидело у меня в голове из другой, ненужной здесь памяти: придёт броня, а держать её нечем, одна сорокапятка, связки гранат да собственная хитрость.

Беленький притащился от своего «гарнизона», один уцелевший от обстрела соломенный боец висел у него на плече.

— Товарищ лейтенант, разрешите доложить. Гарнизон понёс потери, — он потряс чучелом, и из пробитой каски посыпалась солома. — Девять героев пали смертью храбрых, прикрыв нас грудью, набитой сеном, вот этот один выжил. Представить к медали?

— Представить, — сказал я, и вокруг устало засмеялись тем самым смехом, который лучше любых ста грамм. — Как звать героя?

— Так Гитлер же, я докладывал, — Беленький поставил чучело по стойке смирно. — Только теперь он контуженный и разжалованный, прямо как... — он осёкся, глянул на меня, прикусил язык, но глаза смеялись. — Прямо как порядочный человек после нашей высотки.

Я усмехнулся. «Контуженный» он ввернул не случайно, прошупывал, шельма, но беззлобно, и я не стал цепляться.

От промоины, со стороны сухой берёзы, медленно, неся винтовку в опущенной руке, шёл Черных. За ним, спотыкаясь, брёл бледный Петька Корнеев, но не тот, что позавчера носился

по степи, этот уже пороху понюхал и с ног не валился. Черных подошёл, присел рядом со мной на корточки, положил винтовку на колени, помолчал.

— Скольких взял? — спросил я.

— Девятерых, — сказал он ровно. — Офицера, унтера, троих пулемётчиков и тех, кто высунулся.

Он выдал это без похвальбы, но и без той пустоты в глазах, какой я боялся. Позавчера ночью он сказал, что «в человека не стрелял ишо», теперь убил девятерых. Я смотрел на него и не понимал, как он это в себе несёт.

— Тяжело? — спросил тихо, чтоб другие не слышали.

Черных поглядел поверх моей головы. Он всегда думал, прежде чем ответить.

— Не так, как представлял себе, командир, — медленно проговорил наконец. — Кажется, рука дрогнет убить человека, а оно... — снайпер повёл плечом. — Немец далеко, в стёклышке, не человек, фигурка. Ведёшь, дышишь, жмёшь, падает, как соболев. Тяжело будет ночью, я думаю, ночью придут, — он помолчал. — А днём работа. Ты сказал, офицеров да пулемётчиков, я и брал тех, кто молодыми командует. Их убью, наших меньше ляжет. Так ведь?

— Так, — сказал я.

— Ну и ладно, — Черных поднялся. — Петьку Пантелееву приведу к ночи, он молодец сегодня, не сбёг, — и уже отходя, бросил через плечо, впервые за все дни с чем-то похожим на тепло. — Хорошо ты придумал, командир, с чучелами. Немец на солому мины потратил, а нас не тронул. Умно. Я тебя, признаться, поначалу за пустого держал. Ошибся.

Пара скупых слов одобрения от молчуна-сибиряка, стоила дороже, чем «спасибо» от всей роты.

Солнце поднялось уже высоко, и над скатом, усыпанным серыми телами, задрожало марево, начали виться первые мухи. Пахло гарью, кровью и пылью. Рота отходила от боя. Кто перевязывался, кто хлебал воду, кто просто сидел, уставившись в одну точку. Первый бой на этой высоте мы выиграли начисто.

А на западном берегу, за бродом, в бинокль было видно, как в ложине скапливалось что-то новое, не пехота. Пехота так не пылит и не блестит на солнце сталью.

Дорохов долго смотрел туда из-под ладони, потом опустил руку и сказал ровно, без выражения, так, как говорят вещи, которые не изменить.

— А вон и твои танки, командир. Кажись, восемь... нет, девять коробочек, — он повернулся ко мне. — Сорокапятка у нас одна на девять. Чем держать будем?

Глава 7. Броня

Земля задрожала мелко, ровно, будто где-то за рекой заработала огромная молотилка, раньше, чем я увидел сами танки.

Этот звук не спутаешь ни с чем. Не грохот, низкий гул множества танковых моторов, идущий не по воздуху, а по земле, через подошвы, через кости. Я лежал в окопе на обратном скате, приложив ладонь к земляной стенке, и чувствовал ладонью, как приближается вчерашняя смерть, волею судьбы ставшая сегодняшней.

Рядом сидел Дорохов, тоже приложив ладонь к земле. Лицо у старшины казалось каменным.

— Слышишь, Кузьмич?

— Слышу, — сказал он. — Идут, — он помолчал, вслушиваясь. — На финской нас так «Виккерсы» пугали. Те маленькие, картонные против этих, а всё одно как земля загудит, так поджилки трясутся, как и сейчас. Врать не стану, двадцать лет уж служу, а трясутся.

— У всех трясутся, — сказал я. — У кого не трясутся, тот уже мёртвый или дурак, главное — чтоб руки слушались, когда голова боится. Твои слушаются?

— Куда денутся, — Дорохов вытер ладонь о штанину, будто стряхивал гул. — Ты за меня не сомневайся, ты за молодых переживай, первый танк страшнее первой пули в сто раз. Пуля что, она маленькая, а танк вон как гора едет.

— Оттого мы их в окопы и загнали поглубже, — сказал я, — чтоб гора проехала сверху, а голова целая осталась. Передай ещё раз по цепи, кто из окопа выскочит навстречу танку, того он и раздавит, а кто вожмётся поглубже и пропустит, тот жив останется. Пропустить и бить в спину, пусть в зубах это держат.

— Держат уже, — сказал Дорохов. — Всё утро твердят, как «Отче наш».

— Идут, — сказал я. — Всем приготовиться. Гнатюк, на связи?

— Тут Гнатюк, — донеслось из капонира под хутором, где сидела в засаде сорокапятка. Голос у артиллериста был напряжённый. — Вижу их, товарищ лейтенант, выползают из лощины, считаю. Мать честная, девять коробок и пехоты за ними тьма!

— Не части, молчи, пока первый мимо тебя не пройдёт, и бей в борт, как уговорились. Один точный выстрел дал, меняй позицию, не жди второго. Понял?

— Понял, в борт и менять, — чётко отрапортовал он, а после долгой паузы уже тише спросил. — Товарищ лейтенант, девять же их, а у меня снарядов всего двадцать. Ну положу я три, четыре, а остальные?

— Остальными займёмся мы, — сказал я. — Твоё дело — четыре. Сделай свои четыре, Гнатюк, и ты уже герой. Работай.

Я пополз по окопу вдоль роты, стараясь не поднимать головы. Люди лежали серые, вчерашний восторг слетел. Вчера шла пехота, а пехоту они уже били, сегодня же перла броня, и против неё у пехотинца в окопе одно чувство: он голый. Танк — это когда на тебя ползёт железный дом, а тебе ответить нечем, кроме бутылки с бензином и связки гранат, и надо иметь железные нервы, чтобы подпустить его на десять шагов и не побежать.

— Слушай меня, — говорил я, поползая. — Танк — он слепой и глухой, он тебя в окопе не видит, по верхам смотрит. Пропусти его через себя. Понял? Пусть проедет сверху, а ты не высывайся, вожмись в дно, и он тебя гусеницей не достанет, если окоп глубокий. А как проедет, вставай и бей связкой по корме, по мотору или кидай бутылку на решётку. Он спереди крепкий, а сзади мягкий. Пропустил — и в спину, пропустил — и в спину. Повторяй.

— Пропустил — и в спину, — зашелестело по окопу. — Пропустил — и в спину...

У связок гранат я поставил стариков, тех, кто не побежит, Пантелеева, ещё двоих с финской. Молодых же, Селезнёва и Корнеева, определил им в помощь вторыми номерами подать, прикрыть, оттащить. Старик рядом, и молодой не так трясётся.

Беленький ползал по окопам, раздавал бутылки с КС, самовоспламеняющейся смесью в толстом стекле. Страшная штука. Раздавал, ясное дело, с шутками-прибаутками.

— Прошу, граждане, налетай, свежий коктейль от заведения, — приговаривал он, суя каждому по паре бутылок. — Аккуратно берите, не роняйте, а то заведение вместе с гражданином и сгорит. Ты, Селезнёв, бутылку-то в окоп поставь стоймя, а не в карман суй, герой. Вот! Кидать-то умеешь? В корму, на решётку, где горячо. Спереди не кидай, спереди он в бронежилете.

— Аркадий, а себе-то чего ничего не оставляешь? — поддел кто-то. — Всё раздаёшь подчистую.

— А я, дорогой, специалист по логистике, — не смутился Беленький. — Моё дело снабдить, кидать — это для простых душ. Но если очень попросите и танк приедет культурный, так и быть, покидаю чуток.

Смешок, короткий, нервный, но живой, пробежал по окопу. За это я одессита и держал, неунывающий балагур один стоил ротного политрука.

Я дополз до капонира, где Гнатюк с расчётом изготовил свою сорокапятку. Артиллерист был бледный, но собранный, наводчик уже прильнул к прицелу.

— Гнатюк, помни, первый выстрел самый дорогой. Пока не выстрелил, тебя нет, ты пустое место, немец тебя не ищет. Выстрелил, и он тебя тут же найдёт, а через минуту тут ляжет снаряд. Поэтому пальнул и сразу кати пушку за сарай, на запаску, не жадничай на второй с той же точки. Живой пушкарь мне дороже подбитого танка. Понял?

— Понял, товарищ лейтенант. Выстрелить и катить, — он облизнул сухие губы. — Только б наводчик не сплеховал. Мишка, слышь? В борт целься, под башню, там у него бензин.

— Слышу, — буркнул наводчик, не отрываясь от прицела.

— Отец, — сказал я Пантелееву, суя ему в руки готовую связку из пяти РГД-33 вокруг черенка. — Ты у меня главный по танкам на левом. Не лезь под гусеницу зря, пропусти и бей в корму, себя береги.

Пантелеев принял связку, взвесил в руке, усмехнулся в прокуренные усы.

— Себя, командир, на войне не сбережёшь, — сказал он спокойно. — А танк отчего ж не подорвать. Я на финской два ихних подорвал, «Виккерсы». Немецкий, поди, потолще, да такая связка любого уговорит. Ты за меня не бойсь, вон лучше за мальцами доглядай.

Танки вышли на прямую и развернулись в линию.

Девять бронемашин, приземистых, серо-жёлтых, с чёрными крестами, покачиваясь, ползли от брода вверх по скату, их стволы ходили из стороны в сторону, нащупывая цель. За танками, пригибаясь, шла пехота численностью намного гуще, чем вчера. Головной танк остановился, ткнул стволом в наш пустой гребень, в ложные окопы, где ещё торчал один недобитый из вчерашнего соломенного «гарнизона» Беленького, и выстрелил. Чучело разнесло в клочья.

— По соломе бьёт, — шепнул рядом Дорохов. — Купился, вражина, опять на ложные думает.

— Пусть думает, — сказал я. — Гнатюк, не спеши. Пусть подойдут.

Танки ползли. Первый уже переваливал гребень и, не найдя за ним никого живого, пошёл дальше, вниз, на обратный скат, прямо на нас. За ним второй, третий... Гусеницы лязгали всё ближе, моторы ревели так, что закладывало уши, вонючий сизый выхлоп стелился по земле. Головной шёл прямо на окоп, где сидел я.

Вот теперь стало страшно по-настоящему. Одно дело знать головой, что окоп глубокий, и танк тебя не достанет, другое — лежать на дне, вжавшись в землю, и видеть, как на тебя,

заслоняя небо, прёт ревушая многотонная туша, и её гусеница всего в полуметре от твоего лица рвёт землю.

— Не двигаться! — заорал я своим и себе самому. — Пропускай!

Танк прошёл над окопом. Меня засыпало землёй, обдало горячим смрадом, придавило грохотом и отпустило. Он проехал, пошёл дальше, вниз, подставив мне квадратную беззащитную корму с жалюзи мотора.

Я вскочил. Рядом из-под гусениц, отряхиваясь, серая от земли, поднималась моя рота.

— Бей!

И тут заговорила пушка Гнатыюка.

Сорокапятка из капонира под хутором ударила второму танку, шедшему почти вровень с головным, прямо в борт коротко и зло. Бам! Танк дёрнулся, встал, из него повалил чёрный дым. Откинулся люк, из него полезли танкисты, и их тут же одного за другим срезал Черных со своей берёзы. Гнатыюк не ждал, сорокапятка уже меняла позицию, откатывалась за плетень, и через полминуты гавкнула снова из-за угла сарая. Второй танк завертелся на месте с перебитой гусеницей.

— Два! — заорал Копылов из хутора. — Гнатыюк два свалил! Молодца, пушкарь!

А по обратному скату уже шла работа связками. Пантелеев на левом фланге пропустил свой танк, встал из окопа седой, спокойный, примерился и метнул связку тому под корму на моторные жалюзи. Рвануло. Танк окутался пламенем, но какое-то время ещё полз по инерции, потом стал, и из него, воя, полезли живые факелы.

— Ай да отец! — гаркнул Беленький из соседнего окопа. Пантелеев уже опускался вниз за второй связкой.

Свой танк, головной, тот, что переехал мой окоп, я взял сам. Догнал сзади, на ходу добрался почти к корме, горячей, дрожащей, и бросил бутылку с КС прямо на решётку мотора. Стекло лопнуло, самовоспламеняющаяся жидкость растеклась, вспыхнула сразу и жадно. Я отпрыгнул подальше, затем вовсе откатился. Танк проехал ещё десяток шагов, уже горя, и встал. Экипаж почему-то выскакивать не спешил, а когда рвануло изнутри, выскакивать уже стало некому.

Четыре! Четыре из девяти за первые минуты! Но оставалось ещё пять, и они, поняв наконец, что напоролись не на солому, а на живую оборону, озверели.

Дальше разверзся ад, которому невозможно подобрать название. Пять оставшихся танков утюжили высотку, елозя на окопах и стараясь засыпать людей заживо. Немецкая пехота навалилась следом, пошла рукопашная, и уже не понять было, где кто. Я палил из нагана, затем из подобранный автомата, орал команды, которых в этом грохоте никто не слышал, разворачивал людей руками туда, куда надо стрелять. Сорокапятка Гнатыюка молчала. Уже потом я узнал, что прямым попаданием разбило накатник, ранило заряжающего, но Гнатыюк, сам контуженный, ещё оттащил раненого в хутор.

В самой гуще этого ада я увидел Корнеева. Петька сидел в своём окопе ни жив ни мёртв, а на него, разворачиваясь, наползал задом танк, чтобы гусеницами обвалить окоп и закопать мальчишку заживо. Петька смотрел на надвигающуюся корму и не двигался, словно окаменел.

— Корнеев! Связку! Она у тебя в руках, дурак! — заорал я, но за грохотом он не слышал.

Зато услышал Черных. Сибиряк оказался рядом (чёрт его знает, когда успел спуститься с берёзы), прыгнул в окоп к Петьке, встряхнул за шиворот, что-то крикнул в ухо и вложил ему в руки связку. Нет, он не бросил сам, хотя мог, а заставил бросить мальчишку, направил его руку, толкнул. Связка легла танку под корму, рвануло. Танк остановился, задымил, и Черных выдернул обалдевшего Петьку из окопа за миг до того, как горящая махина осела на то место, где мальчишка только что сидел.

— Твой танк, — коротко сказал Черных Петьке. — Запомни его.

Петька смотрел на горящую корму и трясся, но связку из другой руки уже не выпускал.

Мы жгли танки, танки давили нас. Шестой взяли гранатой двое стариков-финников, Сошников с товарищем. Взять-то взяли, да Сошников больше не встал, накрыло его осколком. Седьмой подорвал молоденький боец из мыколаенковского взвода. Бросил связку удачно, а укрыться не успел, так и остался лежать рядом с подбитым танком. Восьмой шустро повернул назад, к броду, не выдержал, побежал. Остался один, и он пятился, огрызаясь из пушек.

А потом я увидел Пантелеева.

Он шёл на оставшийся танк. Не бежал, именно шёл со связкой гранат в руке, а танк пятился на него кормой к броду, лобовой бронёй к старику и бил из пулемёта. Пантелеев не кланялся пулям, просто шёл, как ходят на покос.

Я заорал:

— Отец, ложись, назад!

Но он не услышал или не захотел и дошёл-таки. В тот момент, когда пулемётная очередь сложила его пополам, Пантелеев уже отпускал связку точно под гусеницу. Танк вздыбился, лязгнул, завертелся на месте, его доби́ли бутылками с КС подбежавшие на подмогу бойцы.

Старик упал у самой горячей машины, я добежал до него, перевернул. Живой ещё, но уже уходящий, вся грудь в крови, глаза мутнели.

— Отец! Пантелеев! Санитара! — я зажимал ему рану ладонью, дурак, будто это могло помочь.

Он посмотрел на меня, узнал. Губы шевельнулись. Я нагнулся к самому его рту.

— Мальцов... доглядай... — выдохнул он. — Ванька... Петька... Доглядай, командир.

И всё. Прокуренные усы, спокойное лицо, звериная выучка выживать — всё разом вытекло в сухую землю.

Я стоял на коленях над стариком, а вокруг догорал бой. Восемь немецких танков чадили на скате чёрными кострами, девятый уполз за реку. Пехоту, оставшуюся без брони, добивали и гнали к броду, мы удержали высотку второй раз.

Ко мне подошёл Ванька, тот самый, кого Пантелеев велел доглядывать. Мальчишка смотрел на мёртвого старика, и лицо его преображалось на глазах, становилось страшным, взрослым, сухим. Не плакал, плакать он за эти три дня уже разучился.

— Товарищ лейтенант, — сказал он тихо. — Он же меня третьего дня дышать учил под бомбами. «Раз-два вдохнул, три-четыре выдохнул», а теперь вот...

— Знаю, — сказал я. — Запомни его, Ванька, и живи. Он за то и помер, чтоб ты жил, не подведи старика.

Ванька кивнул, отошёл, сел на бруствер, положил винтовку на колени и молча уставился на догорающие танки остекленелым взглядом. Утром был мальчишка, к полудню стал кто-то другой.

Дорохов считал потери. Подошёл, снял пилотку, что делал редко.

— Семеро, командир, — сказал он глухо. — Убитых семеро. Пантелеев, Сошников с финской да пятеро молодых. Раненых за двадцать. Ихних танков пожгли восемь, и всё одна сорокапятка да наши руки. Такого размена, командир, я и не упомяну, восемь коробок за семьями, только... — он надел пилотку, — только вот Пантелеева и на двадцать восемь мне менять неохота, хороший был старик.

— Хороший, — сказал я.

Из хутора, хромая и держась за плечо Копылова, выбирался Гнатюк. Живой, контуженный, с рассечённой бровью, оглохший, но живой. Он подошёл, покачиваясь, и первое, что спросил, перекиривая собственную глухоту, не про себя:

— Мишка, наводчик, живой?

— Живой твой Мишка, — сказал Копылов. — В хуторе, ногу ему посекло, жить будет. Ты, Гнатюк, сам-то как? Тебя ж накатником придавило.

— Плевать на меня, — Гнатык мотнул головой, и его повело. — Пушка цела? Пушку не разбило?

— Цела твоя пушка, — сказал я. — Что накатник погнуло, то ерунда, починим. Гнатык, ты сегодня две коробки положил, два танка из одной сорокапятки! Ты понимаешь, что ты сделал?

Артиллерист посмотрел на меня мутными от контузии глазами, и вдруг его некрасивое кислое лицо сморщилось не от боли, а от чего-то другого.

— Так их же... девять было, товарищ лейтенант, — сказал он тихо. — Я думал, сомнут, думал, конец нам, а оно вон как, восемь на скате горят, — он сглотнул. — Это ж мы их! Мы!

— Мы, — сказал я. — Иди к медикам, пусть тебя перевяжут, заодно и Мишку своего проведай.

Его увели. Подошёл Черных, неслышно, как всегда, и молча встал рядом, глядя на мёртвого Пантелеева. Долго стоял, потом снял каску.

— Хороший стрелок был, — сказал сибиряк. — Он мне вчера табак дал, когда у меня вышел. Дал и ушёл, я и спасибо сказать не успел, — Черных надел каску. — Я за него троих сегодня лишку взял. Пуцай.

Рота собирала своих. Семерых убитых отнесли к хутору, положили рядком под плетнём, накрыли шинелями. Раненых грузили на телеги для отправки в санчасть, кто-то уже долбил ломом каменистую землю под могилу. Живые ходили тихие, чёрные, оглушённые, но это была не та тишина, что вчера перед боем. Вчера боялись, сегодня хоронили и держались, разница огромная.

Я хотел поддержать бойцов, сказать пару слов про то, что мы победили, что восемь танков — это невозможный, немыслимый счёт, что рота стала ротой, но не успел.

От блиндажа комполка бежал связной, молодой, запыхавшийся, с выпученными глазами. Ещё издали он кричал, и по тому, ЧТО он кричал, у меня всё оборвалось внутри. Этого я тоже ждал, знал из своей ненужной памяти, что так случится, но надеялся, не сегодня.

— Товарищ лейтенант! Приказ! Полку немедленно отходить за Дон! Немец прорвался севернее, обходит! Мы в мешке!

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.